

[2003]

Мечтания
РЮ МУРАКАМИ

Annotation

Представляя собой размышление об ипостасях желания, наслаждения и страдания, вторая книга трилогии, «Меланхолия», описывает медленный процесс обольщения главным героем, Язаки, японской журналистки Мичико, работающей в Нью-Йорке.

- [Рю Мураками](#)

Рю Мураками

Меланхолия

Группа людей. Да, группа мужчин и женщин средних лет. Среди других пассажиров они выделялись бы своим положением, но не были бы ни банкирами и ни бизнесменами. Лучшие люди, исполненные собственного достоинства, — скорее всего врачи, специалисты в области сердечнососудистой хирургии. Чудесно, пусть будут они! Их было бы так много, что можно вообразить, что рейс предназначен специально для них. А это означает, что где-то проходит научный конгресс. Эти господа обожают устраивать свои ежегодные конференции на гавайских или багамских курортах или же на зимних спортивных базах в Аризоне. Большие столицы нынче не в моде. А когда все уже готово, приходится встречать огромное количество дорогих гостей. Значит, реклама для гостиниц и рост туристического бизнеса. Вот почему там готовы лезть из кожи вон, чтобы их принять. То же и с авиакомпаниями. Они предлагают билеты по сниженным ценам: восемьдесят мест в бизнес-классе и десяток — в люксе. На таких рейсах очень мало мест в эконом-классе. Например, как на линии Токио — Нью-Йорк. Именно так я понял, что самое важное — иметь небольшое количество мест экономкласса.

Идеально было бы посадить их на самолет на каком-нибудь южном острове. Все могли бы отлично отдохнуть. В южной части Карибского моря есть остров Барбадос, у северного берега Венесуэлы, совсем рядом с Тринидад и Тобаго, старое британское владение и престижный курорт. Целое созвездие отелей-люкс. Как следствие — аэропорт. Малочисленное население. Помимо туризма, доход обеспечивают сахарный тростник и несколько видов полезных ископаемых. Если, конечно, не считать инвестиционных банков, процветающих в этом налоговом раю. Понятное дело, никаких трущоб и, по сравнению с другими островами в этом районе, место вполне безопасное. Превосходное оснащение, отличное обслуживание. Уровень преступности незначителен, полиции почти не видно.

Здесь и начать бы историю — лучше места не придумаешь. Большинство американцев, отправляющихся на Барбадос, вполне опытные туристы, средний класс довольствуется Багамскими островами или едет в Канкун, в Мексику. Это тоже очень важно...

«Пан-Американ», которая обеспечивала постоянное сообщение с Северо-Американским континентом, не выдержала конкуренции с другими компаниями. Сегодня только лишь «Эр-Караиб» осуществляет перелеты от Барбадоса до Нью-Йорка. Три рейса в неделю, туда-обратно. Так, какой самолет бы выбрать? «Ди-Си-10»? «Семьсот сорок седьмой»? Все равно, лишь бы посудина была побольше. Точно, Барбадос будет в самый раз. Но наша героиня ведь не появится сразу, не так ли? Это необходимо, ей отведена главная роль.

Сцена первая: никому не известный небольшой порт в десяти километрах от Бриджтауна, Барбадос. Луна уже взошла. Полная луна, такая круглая, что кажется искусственной. Нет, я не снимаю ночь «по-американски», нет, никаких старых, избитых голливудских фокусов с минимальной диафрагмой и при солнечном свете. Я снимаю действительно ночь, причем не пользуюсь сверхчувствительной пленкой, нет, обычной дневной, несмотря на слабую освещенность. Работаю я с французской камерой «Супер-16». Объектив — f 1.1 миллиметра. Линза цейсовская, 25 миллиметров. Она позволяет брать красивые широкие планы.

Этот порт кажется сошедшим с полотна Гогена. Луна отражается, дрожа, на водной поверхности бухты. Скалы очертаниями карикатурно похожи на спящих львов. Силуэты пальм слабо проступают в неверном свете. Песок ослепительной белизны. Грубо сколоченная деревянная пристань нависает над водой. Вот вдали появляется яхта. Это, видите ли, своего рода

вступление, которое заставит прослезиться слабоумных японских девиц. В стиле «прибытия яхты с большой постелью в каюте на помощь заблудшей деве». Засевшее в голове заглавие. Эту сцену я должен был переделать не помню сколько раз. Яхта — как бы это выразить? — полуразвалившаяся, как заплесневелая скорлупа, появляется из глубины бухты, кажется, она вот-вот разрушится, и наконец, она касается своим бортом причала. Мы одни на берегу. Чернокожие идут по песку — они собираются снять груз. Величественного вида дом в викторианском духе. Чернокожие снимают с пристани два деревянных ящика и шагают обратно. Именно в этот момент и появляется первый раз главное действующее лицо. Со спины! Собственно говоря, ее пока не видно, так как камера смотрит на слуг. Вдруг глухой шум, и вот она прямо перед нами. Так она приходит. Со спины. Она так прекрасна, что у меня пробегает дрожь по крестцу, когда я ее теперь представляю. Яхта отошла от пристани и удаляется в открытое море. Сокрытая в тени пальм женщина пытается открыть один из ящиков. Она вынимает оттуда два предмета. Теперь во мраке можно различить черепахий панцирь длиной сантиметров в пятьдесят и пистолетпулемет довольно странной конструкции. Сцена первая окончена.

Сцена вторая: аэропорт. Женщина-японка широко шагает, зажав под мышкой черепахий панцирь. Для японки она достаточно рослая, наверное, метр семьдесят пять. Симпатичная кругленькая попка притягивает взоры всех встречных мужчин. Одета свободно, но аккуратно. Сразу видно, что это не обычная туристка, хотя на ней цветастые бермуды, белая футболка и хорошо скроенная бежевая куртка из дорогой материи. Куртка просто наброшена на плечи. На ногах мокасины, в руке тую набитая кожаная сумка. Такие сумки носят все деловые женщины, что работают в ньюйоркских дизайн-студиях. Куртка и обувь одного цвета, сумка наподобие портфеля для бумаг. Волосы убраны под шиньон, и все скрыто широкополой шляпой. Большие черные очки, легкий макияж, никакой помады, возраст неопределенный. Ей можно дать восемнадцать, если судить по фигуре и грации дикого животного, с которой она передвигается. Можно дать и тридцать, если обратить внимание на сдержанность в поступках. Рядом с ней идут четверо, две женщины и двое мужчин. Все молчат. На мужчинах тонкие летние костюмы, на плечах у женщин куртки. Японского происхождения только наша героиня. По ее виду и поведению сразу понятно, что она главная в группе. К себе она прижимает панцирь зеленой черепахи. Этот вид не встречается нигде, кроме прибрежных вод Барбадоса, его вывоз запрещен Вашингтонской конвенцией. Женщину зовут Юка. Она похожа на океанолога.

Проверка багажа в аэропорту Барбадоса осуществляется между таможенным постом и пунктом паспортного контроля. Женщина с зеленой черепахой под мышкой объясняется с таможенным офицером. Она достает свой паспорт и удостоверение личности. Оба документа явно поддельные, но здесь нет никакой возможности это проверить. Она протягивает таможеннику просроченное гарантийное письмо одного японского университета, составленное по-японски с английским переводом, и специальное разрешение на вывоз черепахи вида *chelonia mydas*. У нее есть еще внушительная пачка документов. Приглашение от одного венесуэльского океанолога, разрешение на отлов зеленой черепахи, выданное государственным бюро по туризму Барбадоса, разрешение на ввоз для американской таможенной службы, выданное океанологической исследовательской лабораторией Флоридского университета, официальное обращение экологической организации Нью-Йорка, адресованное правительству Барбадоса, и десятки других бумаг.

Таможенная служба Барбадоса не привыкла к документам такого рода. Из-за контрабанды кокаина пришлось отказаться от использования турникетов. По причине удаленности от Северо-Американского континента руководство сокращает штаты, и поэтому для решения даже самой незначительной проблемы требуется огромное количество времени.

Для того чтобы прочитать все бумаги, уходит целый час. Работник наземной службы «Эр-Караиб» без конца повторяет, чтобы все пассажиры поскорее заканчивали формальности и собирались в зале отбытия.

Хорошо, понял, я вам их доставлю прямо в самолет! Не пройдет и трех минут!

— кричит наконец толстый офицер.

Он такой огромный, что невольно задаешься вопросом: а можно ли потолстеть еще больше? Юка без очков и шляпы сидит на заржавевшем стуле не говоря ни слова. Она терпеливо, с очень важным видом ждет, пока служащий разбирается в ее бумагах. Ее четверо спутников стоят позади, и один из них вдруг проявляет свое недовольство.

Не нервничай, я уверена, это ненадолго, — мягко успокаивает его Юка.

В помещении таможни почти нет движения воздуха. Чернокожие служащие покрыты крупной испариной. Кажется, что трехлопастный вентилятор на потолке едва вращается, делая духоту еще более невыносимой. Однако Юка этого не ощущает. Она сидит, выпрямившись, сдвинув колени, на ее губах блуждает легкая улыбка, пока она рассматривает таможенных офицеров. Приближается время отлета.

Неожиданно Юка поднимается с места и строго произносит по-английски:

Господин офицер, мы обязательно успеть на рейс до Нью-Йорка. Я должна доставить в свой университет этот панцирь, это очень ценный объект для научных исследований. Если из-за нас я не смогу выполнить свою задачу, я должна точно знать, на кого будет возложена ответственность. Настоятельно прошу, если эта черепаха подлежит изъятию таможенными органами, сделать это немедленно, а мне выдать письменный документ для того, чтобы я могла уведомить мой университет, университет во Флориде, американскую таможенную службу, а здесь... здесь государственное бюро по туризму, нью-йоркское телевидение и прессу.

Офицер бледнеет. Как всякий чиновник, занимающий ответственную должность, он озабочен только одной-единственной проблемой — избежать ответственности в любой ее форме. Догадавшись, что ее удар достиг цели, Юка сама предлагает выход из ситуации:

Приближается время отлета. У меня еще есть письмо директора океанографического института в Кингсбурге! По-моему, вам должно быть уже все понятно.

Она кладет бумагу перед офицером.

Как я понимаю, в соответствии с этой бумагой владелец обязан вернуть панцирь на Барбадос в течение двух лет по окончании исследований. Офицер! Вас никто не сможет ни в чем упрекнуть!

С этими словами она достает из сумки серый конверт и протягивает таможеннику. В конверте лежат пять новеньких сто долларовых бумажек.

Не поймите меня превратно, господин офицер, эти деньги предоставлены моим университетом в качестве обеспечения за этот панцирь. Я лично передала ту же сумму и директору океанографического института.

Все решается мгновенно. Толстый офицер, колыхаясь необъятным телом, приглашает всех пятерых проследовать за ним.

— Поторопитесь! — кричит служащая из «Эр-Караиб». Панцирь вдруг выскользывает из рук работника багажного досмотра, и офицер снова подхватывает его. Никто не замечает напряжения на лицах японки и ее спутников при мысли о том, не взбредет ли в голову кому-

нибудь положить панцирь на лен ту рентгеноскопического аппарата.

Наконец они входят, отдуваясь, в зал для отбывающих. Посадка через пять минут. Офицер протягивает панцирь Юке, чмокает и удаляется, помахав рукой.

В зале человек двести, мужчины и женщины средних лет. Группа врачей, авторитетов в области сердечнососудистой хирургии, возвращается в Нью-Йорк после очередного конгресса. Юка и ее товарищи сразу выделяются среди этой медицинской братии. Можно сказать, они испускают какие-то особые флюиды. Две женщины, одна блондинка, похожая на немку, другая брюнетка, скорее латинского типа, обе прекрасно сложены, но ростом меньше, чем Юка. Они тоже почти без косметики. Мужчины бородатые, манерами напоминающие научных работников, смысл жизни которых заключается в отыскании истины. Едва войдя в зал, они вместе направляются в сторону кафетерия. Пять бутылок кока-колы. Чокаются.

Люди тотчас же начинают смотреть на Юку и на черепаху в ее руках. Сидя, скрестив перед собой ноги, она проявляет необычайное хладнокровие. Мужчины не могут отвести от нее глаз, подчиняясь ее обаянию. Женщины тоже смотрят, и на лицах у них такое выражение, будто бы Юка отняла у них все — нежную кожу, стройную фигуру, выступающие округлые груди, прелестный мускулистый зад. Короче, Юка — предмет всеобщего интереса. В ней есть что-то завораживающее, что-то предостерегающее, что проявляется не только в чертах ее лица, но и сверкает огоньком в самой глубине зрачков. Что это — трудно сказать, но стоит ей взглянуть поверх своих черных очков, как любопытные взоры немедленно исчезают.

Какой-то доктор, сидящий позади Юки, что-то ей говорит. Лет сорока, хорошо выглядит, несмотря на довольно-таки узкое лицо. На нем летние шерстяные брюки, тенниска от Ральфа Лорена. Человек, преисполненный уверенности в себе.

Прошу вас простить меня, — говорит он, наклонившись через плечо Юки и улыбаясь, — могу ли я задать вам два-три вопроса о... об этой черепахе? Юка слегка оборачивается к нему.

Прошу вас, — говорит она.

Ее голос такой чувственный, такой мягкий, что все остальные женщины опускают глаза, задыхаясь от ревности.

У вас очень редкий экземпляр, не так ли? Я, видите ли, врач, специалист по кардио... — На секунду он замолкает и улыбается: — И я совсем ничего не знаю о черепахах!

Но, несмотря на это, вы все же интересуетесь морской фауной? — говорит Юка, убирая панцирь, словно желая спрятать его от взгляда своего собеседника.

Мне вообще многое интересно, не только черепахи. Ну уж если мы летим одним рейсом... как вам сказать? Ну, мне любопытно было бы знать о связи между вами и этой вещью.

В этом панцире... — начинает серьезно объяснять Юка, поглаживая воображаемую голову животного, — в этом панцире есть то, что я люблю больше всего в жизни.

Неужели? Обязательно расскажите мне об этом!

Для неспециалиста все это может показаться набором сухих фактов из жизни рептилий.

А не относится ли эта черепаха к какому-нибудь особому виду? Могла бы она представлять научный интерес, сравнимый со слоновой черепахой с Галапагосов, любимой черепахой Дарвина? Действительно, — отвечает Юка, кивая, словно вдохновенный ученый. — Однако я думаю, что сравнение ее с *chelonoidos elephan topos*, вся ее значимость и тому подобное в нашем случае имеет скорее иной смысл. Если бы я углубилась в подробности, сложность состояла бы не в том, смогли бы вы понять меня или нет... Я бы сказала, что здесь сокрыт некий философский интерес, впрочем, как и любом материале, ценном для науки.

— Полностью согласен, — кивает доктор.

Юка улыбается, и в этот момент раздается сигнал к посадке. Приглашаются пассажиры, летящие люкс-классом.

Прошу прощения, — говорит, поднимаясь с места, медик, мне пора. — Он машет рукой, приветствуя товарищей Юки, которые все это время сидят, вцепившись в панцирь, и скрывается в зале отбытия.

Самолет взлетает. Подъем заканчивается, самолет набирает крейсерскую скорость. Наступает время аперитива, стюардессы проходят по рядам, принимая заказы. Юка устраивает панцирь у себя на коленях и кладет руки поверх него. Соседи по ряду начинают ее рассматривать. Кажется, что вот-вот что-то произойдет. Четверо товарищей Юки пересаживаются на своих местах. Юка сжимает руки так, что белеют ее ненакрашенные ногти, а вены на тыльной стороне ладони вздуваются. Вдруг слышится треск — это Юка сломала панцирь, внутри которого под прослойкой из полистирола оказывается пластиковая сумка. Потом она раскрывает ее, достает небольшие металлические шары и передает их по одному своим друзьям.

Да что такое происходит?! — возмущается сидящий рядом пассажир.

Заткнись, — бросает ему Юка, отрывается у сумки второе дно и вытаскивает пистолет-пулемет.

Эти маленькие шары — советские противотанковые гранаты. С этого момента всем молчать. Я не потерплю ни малейшего шума. Самолет захвачен.

В черепашьем панцире находилось одиннадцать противотанковых гранат. Такие, как правило, состоят на вооружении армий стран-участниц бывшего Варшавского договора. Это не какие-нибудь осколочные фанаты — такой мячик способен уничтожить весь экипаж танка только лишь взрывной волной, которую он создает при взрыве. Они не всегда могут быть обнаружены металлоискателем, поскольку, не превышая размером теннисный мяч, покрыты защитным слоем пластика.

Разобранный и спрятанный в двойном дне сумки пистолет-пулемет — идеальное оружие для захвата самолета. Магазин, предохранитель и прицел сделаны из термостойкой пластмассы. По этой причине в нем нельзя использовать обычные боеприпасы, даже эти новые разрывные пули. В данном случае это оборачивается преимуществами: из-за отдачи использование разрывных пуль приводит к потере точности, к тому же такие боеприпасы легко обнаруживаются рентгеновскими лучами.

Соседка Юки, пассажирка, занимающая место «A1» в люкс-классе, женщина-врач, незамужняя, не проявляет никаких эмоций при сообщении о захвате. До нее просто еще не дошло. Юка поднимает автомат и объявляет весело:

Ладно, я иду в кабину объяснить все подробнее командиру самолета.

— Ах, в самом деле? — роняет ее соседка.

Ей чуть больше пятидесяти, седеющие волосы, вралиха из тех, кто не допускает возможности теракта, даже если ей гаркнут в самое ухо «Захват!» и сунут под нос пистолет. Такова человеческая психология: реальность, которую субъект отказывается допускать, тотчас же становится для него двойственной, как в начале кошмарного сна.

Юка встает с места, хотя сигнал «пристегните ремни» еще не выключен. Пассажиры не реагируют. Ей навстречу поднимается стюард и вежливо просит занять свое место.

Вы кстати подвернулись, — произносит Юка, поигрывая гранатой. — Отведите меня в кабину пилота. Это вам не игрушки, это специальная граната, она может убить сколько угодно человек в радиусе пятидесяти метров. И так же легко проделает дыру в корпусе. Эй! Смотрите мне в глаза! Видите в них желание? Я плачу? Угадал, я плачу, я в слезах, но смотри не ошибись на этот счет! Я очень возбуждена... очень... но я не допущу ни малейшей ошибки. Если я брошу эту гранату, она взорвется через три секунды. Понял, что я хочу сказать? Ты понял, что произойдет, если хоть одна сатана попробует меня остановить? Вам ничто не поможет. Мои

друзья готовы. Я поговорю с командиром, каждый из нас знает, что делать. Все это меня возбуждает, и я плачу... Для тебя большая честь видеть меня в слезах.

— Для тебя большая честь, большая честь, большая честь, большая честь видеть меня, для тебя это большая честь, большая честь, честь... — повторяет стюард, словно решил твердить эти слова до самой смерти.

Почему этот человек, ставший чем-то вроде легенды, согласился мне все рассказать? Человек, два-три раза промелькнувший в некоторых японских средствах массовой информации, человек, в течение двух лет живший бродягой в Нью-Йорке. Почему он, продюсер фильмов и музыкальных комедий, захотел со мной говорить? Это не было стремлением оправдаться. «Оправдаться»... Странное слово. Странное в том смысле, что этот человек никогда по-настоящему не имел отношения к японскому обществу и к нашей иерархии отношений.

О Японии часто говорят как о стране без классовой системы, но это заблуждение. Вот я, например, не производящая впечатления выходца из благополучной среды — мой отец был менеджером на предприятии, а мать музыкантом, — посещала частную школу, где преподавали монахини, со второго курса лицея и до окончания университета жила в Бостоне. С того времени я полюбила писать и в двадцать четыре года опубликовала книгу — репортаж о японцах, живущих в Соединенных Штатах и Канаде в третьем поколении. Получилось так, что книга была напечатана в издательской службе предприятия, где работал мой отец, — разумеется, по блату.

Думаю, на самом деле мало кто из творческих людей — я имею в виду тех, кто действительно что-то создает, — принадлежит к тому социальному слою, о котором говорю. С другой стороны, такая вертикальная структура могла бы оказаться полезной для налаживания различного рода связей и контактов. Речь идет об издателях классической музыки, деятелях из мира моды или кулинарии, директорах старых издательств, о продюсерах и художественных директорах главнейших кинокомпаний и студий звукозаписи, о владельцах художественных галерей — о всех этих людях, на которых всегда большой спрос в рекламных агентствах и среди директоров телеканалов.

Тем не менее, это не означает, что они располагают большими финансовыми средствами. Нет, в их случае можно говорить о деревенском доме, унаследованном от деда, о знакомствах в узких кругах, о доверии банков, связях и некоторой склонности к особой, отличающей их манере речи. В этом обществе я новичок, хотя это и не значит, что я нахожусь в какой-либо зависимости от него.

Я считаю, что причины, по которым эта страна стоит на грани катастрофы, процентов на семьдесят-восемьдесят зависят от косности классовой системы. Для нее важнее всего сохранение формальных и неформальных, скрытых или явных сословных разграничений, что позволяет всем держаться за свои привилегии. Такая система порождает лишь консерватизм, потому что обладание даже частицей власти ведет к нежеланию наступлению любых изменений.

Однако человек, сидевший передо мной, был совсем другим. Мы сидели напротив друг друга за столиком в баре гостиницы в Аптауне, в Нью-Йорке. Я едва успела ему представиться,

как он сразу же заговорил об актрисе Рейко Курихара, которая должна была играть японскую террористку в его фильме. Моя же цель состояла в том, чтобы узнать причину, побудившую его в свое время стать бомжом.

Его имя было Язаки. Он говорил, не поднимая головы. Сколько ему лет? Я слышала, что около сорока. В зависимости от того, как падал свет, или от выражения лица ему легко можно было дать как тридцать, так и все пятьдесят. На нем была рубашка с воротником в духе Мао, поверх нее — стандартный костюм, правда сшитый ил прекрасной материи. Он поведал мне в мельчайших подробностях свою историю про женщину-террористку, но без одержимости. Расказывая, Язаки не брызгал слюной, на его губах не выступала пена, но, с другой стороны, в его голосе не чувствовалось и спокойствия. Вырывавшиеся у него слова казались существующими отдельно, будто, не имея возможности быть высказанными, предоставленные сами себе, они повторялись тысячи раз в бесконечных внутренних монологах. Он говорил тихо, но его взволнованность казалась мне вызывающей. У него было особое мнение о той системе, к которой принадлежала я, и он знал, как сыграть на этом. Эта манера крушить и ломать все, что не имело, по его мысли, никакого значения, была невыносима. И при этом изысканно вежлива. В его голосе не чувствовалось никакой грубоści, скорее что-то большее. Возможно, Язаки обладал слабо выраженным «я». Он не принадлежал себе и ни от кого не зависел. У него не было ничего. Он не был достоянием корпорации или членом семьи, для него не существовало ни религии, ни принципов. Если Язаки в действительности был тем, чем казался, он испытывал невыносимое одиночество, возбуждавшее в нем жажду. Это я и называю вульгарностью.

Язаки посмотрел на меня. Он прекрасно понимал, что я пришла интервьюировать его. Обо мне он не знал ничего, да и откуда? Протягивая визитную карточку, я назвала свое имя. Он тотчас же стал рассказывать содержание своего фильма про террористку, и, слушая, я почувствовала его жажду жизни.

Простите, — произнес он, не отводя глаз. — Я вам тут всякого наговорил. Я просто не привык. Вы знаете, о чем будете говорить со мной? Ну что ж, я попробую ответить, если смогу.

Он смущенно умолк и засмеялся. Внешне он выглядел вполне здоровым, и только его глаза казались налитыми кровью. Такие глаза можно видеть у людей, принимающих наркотики, или у алкоголиков.

Я вам еще не представилась и не назвала тему нашего интервью.

— Да, точно. Ну что ж, я вас слушаю.

Он оценивающе улыбнулся. Его улыбка мне не понравилась. До сих пор у меня не было возможности близко познакомиться с людьми подобного рода, но я знала, что такая манера улыбаться, свойственна многим. Это у них врожденное. Работая над репортажем о детях японских эмигрантов третьего поколения, я как-то встретилась с одним хоккеистом, который улыбался точно так же. Эта улыбка появлялась бессознательно, когда ослабевал самоконтроль. Не знаю, как на моем месте вели себя другие женщины, я же страшно, до слез, конфузилась. Странное ощущение.

Я рассказала ему план нашего интервью, объяснив, что веду рубрику в японском женском журнале. Правда, мне пришлось отметить, что эта беседа — материал для будущей книги о людях, представляющих сегодняшнее американское общество. Язаки был одним из них. Я упомянула и о его гонораре.

Предлагаю пятьсот долларов за это интервью, и еще пять сот — по выходу книги.

Устраивает? Прекрасно.

Тогда начнем прямо сейчас.

Я попросила разрешения записывать его слова и достала блокнот.

Вы действительно жили с бомжами? Верно.

Как давно это было? Три года. Это началось с тысяча девятьсот девяносто первого года, да, я уверен, что с весны девяносто первого.

По слухам, у вас не было никакой необходимости становиться бомжом.

Необходимости? Ну, говорят, что вы только делали вид.

Это не из-за отсутствия денег. Я думаю, что этот эксперимент был ответом на вопрос, который каждый из нас может себе задать. У меня была депрессия. Я не мог держать себя в руках. Это было чем-то вроде расплаты.

Я была разочарована. Я-то думала выявить экономические или социальные причины, которые привели японца в Нью-Йорк и там заставили сделаться бродягой. Я ожидала, что он расскажет о такой жизни. Но, судя по всему, Язаки собирался поведать что-то иное. Слушать его дальше? Почему он согласился дать это интервью? Прошу извинить меня за вопрос, который может показаться слишком прямым и невежливым. Я хотела бы знать, почему вы согласились дать это интервью? Мне нужно убедиться, что моя рана зажила окончательно, — ответил Язаки, скривившись.

Рана? Ага. Потому что я считаю, что из-за нее и стал бомжевать. Я думал исцелиться. Впрочем, я уже не такой. Я снял фильм. Вот почему я решил встретиться с вами. Должен заметить, я сам очень удивлен тем, что рассказал вам о Рейко. Честное слово.

Я тоже этому удивлялась. Язаки кивал, будто подтверждая свои слова.

Этот случай напомнил мне историю, которую как-то давно рассказал отец. Он работал в мэрии. У него был близкий друг, парень малость того. Он постоянно лежал в больницах, его выписывали, потом опять забирали, и так без конца. Не помню точно, как его звали: Фукуяма или Фукудзава, что-то вроде этого. Мне кажется, они познакомились еще в университете. Университет в провинции Сикоку был малоизвестный, хотя там имелся и физический факультет. Отец терпеть не мог преподавателей и не имел ни малейшего желания становиться одним из них, поэтому и поступил на должность в муниципалитет. Его приятель писал стихи и романы, при этом он даже не пытался найти какую-нибудь работу. Его родители были земледельцами, он им помогал и таким образом существовал, не испытывая особой нужды в работе. Отец не считал это правильным, но так или иначе поддерживал его, особенно когда того укладывали очередной раз в больницу или выпускали оттуда. Попасть в больницу было несложно, а вот выйти — тут отцовский друг должен был подвергнуться своего рода тестированию. Вроде бы ничего. Но однажды отец пришел домой и стал мне рассказывать про этот тест. В тот день его друг облажался. Сначала врач ему сказал: «Господин Фукуяма, я не могу вас сегодня выписать, вы понимаете это, не так ли?» Тогда друг стал психовать, плакать, орать, повторяя: «Но ведь я совсем выздоровел!» Все это продолжалось без малого час. Конечно, ему попытались объяснить, почему его нельзя считать здоровым.

Со мной тоже самое. Сколько времени я вам рассказывал о той террористке? Минут тридцать.

Абсолютно ненормально. Хотя я знаю, что сам не вполне...

Это единственная причина, по которой вы решили встретиться со мной? То есть вы хотели убедиться, как зарубцевались ваши раны? Да. И зажили очень скоро.

Скоро? С того времени, как я понял, что способен с кем-либо раз говаривать.

Я почувствовала себя в тупике, из которого нет выхода. «Как вы оцениваете свою жизнь в тот период? О чём вы тогда думали? Как вы общались с другими бездомными? Не думаете ли

вы, что бомжи в какой-то мере присущи изнанке любого большого города?» — говорить об этом потеряло всякий смысл. Тем не менее, я была заинтригована. Я спрашивала себя, можно ли найти где-нибудь в Японии такого человека. Конечно, есть люди, действительно сломленные бедностью и обществом, но это совсем не то, о чем говорил Язаки. Тогда я задала ему еще один вопрос:

Какого же рода эта рана? Это очень-очень длинная история.

Мне интересно.

Это все из-за ошибки с этой Рейко.

Я приготовилась записывать и открыла блокнот, но Язаки схватил меня за руку.

Подождите... Вы не будете возражать, если я пропущу стаканчик? Мне кажется, так будет лучше.

К своему кофе он даже не притронулся.

Ничего страшного, я позову официанта.

Показался официант-европеец. Было похоже, что в Соединенных Штатах он совсем недавно. Скорее всего, чех или поляк — он и по-английски говорил с похожим акцентом. Язаки заказал двойной шерри. Пока я рассматривала этого белого парня, стоявшего перед Язаки, меня охватило странное ощущение *dejavu*, как будто повторялось то, о чем я думала в начале нашей беседы. Потом все вернулось на свои места, словно по мановению руки невидимого режиссера.

Я привыкла к обществу иностранцев, в большинстве своем белых, с давних пор, еще с начальной школы. Мои родители часто устраивали домашние праздники, чуть ли не раз в месяц, на которые приглашались и деловые знакомые отца, и друзья матери. Так что говорить по-английски я начала с детства. Родителям это было по душе, поэтому я принимала участие в каждом таком празднике. Все иностранные гости разговаривали со мной чрезвычайно учтиво, понятно и были очень внимательны ко мне. С родителями они обращались как с равными, что создавало атмосферу комфорта и спокойствия. Обычно в доме готовили просто, без изысков. Но если к нам приходили американцы, мать предлагала им калифорнийское вино, если французы — сыр, если немцы — сосиски, если итальянцы — паштет. И обязательно устраивала маленькое музыкальное представление. Когда такие приемы проходили вне дома, меня с собой не брали, и я часто из-за этого расстраивалась. Домашние праздники я обожала. Общение с иностранцами мне очень помогло, когда я уехала учиться за границу. Однако была одна вещь, которая меня сильно тогда смущала, вещь, которую я не могла понять, хотя постоянно ощущала, сравнивая родителей даже с теми иностранцами, которые были недостаточно хорошо одеты или не очень уверены в себе: было между нами какое-то различие. Создавалось впечатление, что они выше нас во всем. Это не относилось ни к деловым качествам моего отца, ни к музыкальным способностям матери (у нее, кстати, было сопрано). В начальной школе я была уверена, что это различие коренится в строении их тела, в их мимике. Я считала, что это зависит от их высокого роста, цвета кожи и глаз, формы носа или от того, что у некоторых из них светлые волосы. И только в колледже я осознала, что все дело в разнице наших культур.

Вот почему я испытывала беспредельное восхищение перед иностранцами. Наши обычаи были различны, начиная с вопросов деловой этики и вплоть до музыкального искусства. И хотя в целом я не ошибалась на этот счет, все же мне были неясны причины та кого явления. Они стали понятны позже, когда я училась за границей. Мне встречались люди, которые жили, не испытывая ни каких комплексов. Попадались такие, которые кичились своим происхождением,

хотя и были всего-навсего неудачниками. Проблема заключалась, скорее всего, в количестве информации, которым обладал каждый из них. Это достигалось не ежевечерним систематическим просмотром передач Си-эн-эн, прочтением от корки до корки газеты «Пост» или «Геральд трибьюн» или ознакомлением со всеми новинками видео. Однаково трудно утверждать, что прочитавший все исторические работы и практические руководства по калифорнийским винам и тот, кто действительно пробовал «Барон Филипп» или «Роберто Мондеви Опус Уан», обладают равным количеством информации. В соответствующем разделе кибернетики «информация» рассматривается как конкретное понятие. Информация может сообщать, где принимает ванну данный индивидуум. Иными словами, совокупность данных, определяющих конкретную личность, сводится к выявлению его социальной принадлежности. Разумеется, качественные характеристики этих данных меняются в зависимости от конкретных обстоятельств; сам социальный статус человека может заставить того перемениться. Возьмите самых влиятельных людей из любого крупного города, бросьте их в пустыню, джунгли или на поле сражения — и вся классовая иерархия полетит к черту. И никакое руководство тут не поможет.

Я разглядывала благообразное лицо молоденького официанта и вдруг ясно поняла, какое именно впечатление произвел на меня Язаки. Он несомненно располагал фантастическим объемом информации. Первый раз мне удалось встретить такого японца, как Язаки.

— Все-таки я попался! — сказал Язаки и медленно поднял стакан «Tio Pere». Он опорожнил его с таким видом, будто это была простая кола-лайт, не проявив ни малейшего почтения ко всемирно известному вину. Казалось, он пьет безо всякого удовольствия. Он поставил стакан на стол, и в нем глухо звякнули льдинки.

А вы знаете, который час? Чуть больше половины пятого.

Не взять ли еще стаканчик? И сразу же подозревала официанта. Увидев, как он опрокинул «Tio Pere», словно апельсиновый сок, я начала жалеть, что попросила его об этом интервью. Мне хотелось уйти. Похоже, он принимал меня за слабоумную. Это обстоятельство я предусмотреть не могла. Зато, к стыду своему, ощущала то, что на моем месте ощущила бы любая женщина. Раньше, говоря об этом, намекали на историю о Прекрасном принце. Сегодня предпочитают приводить в пример так называемый «стокгольмский синдром». В свое время в стокгольмском банке захватили заложников. Среди них оказалась женщина, которая повела себя так, как будто была заодно со злумышленником. Впоследствии она заявила, как рассказывали, что чувствовала себя влюбленной в него. Я, конечно, не испытывала желания быть ему подвластной, но что-то заставляло меня доверяться этому мужчине и тому, чем он обладал. Мысль эта имела и сексуальный аспект. От улыбки Язаки я готова была расплакаться. Эмоции начинали бурлить, да я и не пыталась восстановить утраченное хладнокровие. Я почти потеряла контроль над собой.

В своей памяти я носила образ отца, которого всегда уважала. Он был не только чутким и внимательным человеком, у него было много друзей, интересная работа, он бегло говорил по-английски, читал Фолкнера и Нормана Мейлера в оригинале, любил музыку Вагнера и Рихарда Штрауса, и он никогда не выпивал одним глотком стакан «Tio Pere». В будущем году мне исполнится тридцать. Я знала много мужчин, из которых от двоих особенно натерпелась после разрыва. Главным образом я встречалась с белыми, хотя были и японцы, и даже один чернокожий, адвокат. Однако это не означает, что до настоящего времени я легко выбирала мужчин, похожих на образ моего отца. Я встречалась даже с неким музыкантом младше меня. С ним я могла испытывать оргазм. Тем не менее, никогда не теряла голову и, расставаясь, соответствовала образу, который создала для себя. И вот его я увидела во взгляде Язаки. У меня создалось впечатление, что он находится где-то по ту сторону. Точнее, может свободно

выходить за пределы собственного сознания. Я спрашивала себя, как можно придумать подобное, когда он еще ничего о себе не рассказал? Из-за истории с террористами? Вроде нет, не было в ней ничего необычного. Я никогда не видела человека, который мог говорить так страстно, едва мы успели встретиться. Восторженность, с которой он рассказывал сюжет своего фильма, вовсе не означала, что он не владел собой. Он не кричал и не брызгал слюной. Чувствовалось, что он очень тщательно выбирал слова. Он мог при этом находиться за рамками своего сознания и обладал замечательной силой воли. Это его собеседник понимал мгновенно. К тому же для Язаки это был простой и ненавязчивый способ показать, кто он есть на самом деле. Но в то же время он производил впечатление человека, находящегося в состоянии полного отрещения. Если бы я неожиданно спросила: «Простите, вы кто?» — он не смог бы ответить, наверное, в течение нескольких секунд. Он напоминал участника ритуала вуду, нет — пианиста перед партитурой Дебюсси, уже не принадлежащего самому себе. Что отличало эти два состояния, так это наличие или отсутствие воли.

Ах, уже! — произнес Язаки и, словно в рассеянности, схватил мою руку и приложил ее сначала к щеке, а потом ко лбу. — Чувствуете? В это время у меня всегда случается легкий приступ лихорадки. Чувствуете, какой горячий? Я поспешила отдернуть руку и согласно кивнула. У него действительно был жар, однако я терпеть не могу фамильярного обращения. Мне, конечно, следовало возмутиться: да по какому праву он так себя ведет? Но вместо раздражения я испытывала любопытство. Это одновременно порождало что-то вроде влечения, тайного желания, беспокойства и состояния неопределенности.

Это повторяется уже давно. Вы подумали, что из-за наркоты, не так ли? Я не из этих. Я никогда не пытался забить себя наркотиками или амфетаминами. Вы назовете это отчаянием или пустотой существования, но это не так. Успокойтесь, все эти ежедневные приступы вовсе не инфекция. У меня нет СПИДа. Я могу харкать перед вами кровью без малейшего риска для вас. Тому есть некоторая причина. Четыре года назад Рейко, ничего мне не сказав, сделала тест на СПИД. Не знаю уж как, но она заставила меня поверить, что должна пройти обследование печени и тест на ВИЧ. Должно быть, она действительно сильно испугалась в самом начале наших отношений того, нет ли у меня СПИДа. Я не мог и подумать, что она способна быть такой. Одно время я считал ее упорной, волевой, а в действительности она оказалась воплощением слабости. Если она и осталась чистой, то только потому, что СПИДа не было и у меня. Все это должно показаться вам странным, но поймите, мы занимались сексом всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Не знаю, как рассказать о себе, не сказав вам об этом. Вы согласны? Я не люблю касаться этой темы с человеком, которого плохо знаю, да еще при первой встрече. Попробую рассказать наиболее абстрактно, хотя...

Да, расскажите, как вам больше нравится, мне без разницы, — ответила я.

Из всех, кого я знала, мало кто мог так изъясняться. Он начал с приступов лихорадки, преследовавших его в конце дня, приплел историю про тест на ВИЧ, а закончил какими-то предосторожностями, которые он должен был принять, отправляясь на встречу со мной. О чем бы он ни говорил, я чувствовала стремление завладеть мной без остатка, каждая фраза походила на приступ лихорадки. Речь его казалась бессвязной, но в ней была своеобразная логика. Мне выпал случай беседовать с обреченным, запертым в причудливых коридорах смерти.

Благодарю вас. Такое впечатление, что единственное ваше слово умеряет приступ. Уверяю, мне ненавистна моя болезнь. Надеюсь, вы понимаете, что я не из тех, кто боится быть

неправильно понятым, однако думаю, правильнее было бы начать мой рассказ с Кейко, девушки, с которой я познакомился раньше Рейко. Так будет легче понять, что впоследствии на самом деле произошло с Рейко. Хотя как я могу быть в этом уверенным, если столько вещей не в состоянии объяснить даже самому себе? Касательно того, что я понял, — вот, вы видите перед собой изрядно истаскавшегося сорокалетнего типа... Я считаю, что жить стоит, никогда не заглядывая в зеркало. Вы не согласны? Я открыла рот, чтобы ему ответить, но Язаки сразу взмахнул рукой:

Не трудитесь отвечать на все вопросы, задать которые мне взбредет в голову. Я вижу, вы слушаете очень внимательно. Причем настолько, что я иногда боюсь потерять нить рассуждений. Поэтому вам необязательно отвечать на мои вопросы, иначе я могу забыть, о чем говорю. Кстати, если все же это произойдет, помогите, сделайте одолжение. Да, о чем я? Я хотел рассказать о своих приступах. Они обычно случаются в конце дня. Началось это с самого детства, когда я был совсем маленьkim и ходил в начальную школу, причем от любой ерунды. Точнее, когда на меня накатывала скука и меланхолия. Естественно, у меня подскакивала температура. Эти приступы были, конечно, куда менее сильными, чем, например, при гриппе. Совсем легкие, понимаете? Температура не поднималась выше тридцати семи и четырех, ну там, шести. И всегда в одно и то же время года: весной и осенью. Летом и зимой я чувствовал себя превосходно. Потом я уехал в Гринленд, затем в Лаппонию, мне всегда нравились теплые края. Я побывал, наверное, во всех экваториальных странах и в тех, что находятся в десяти градусах к северу или к югу. Что удивительно, эти теплые края оказались не менее губительны, чем приступы лихорадки. Когда у вас температура сорок, вам не до того, что вы любите, а что нет — вы можете только лежать. Ну да. Ну и как раз весной, когда приближалось время очередного приступа, я познакомился с этой Кейко. Это была очень здравомыслящая девушка, она мыслила, так сказать, понаучному. А именно, поняв, что склонна к нимфомании, тотчас же со всей серьезностью начала искать возможности проявить свои склонности, но при этом не докатиться до проституции. Она видела три пути: стриптиз, лесбийская любовь и садомазохизм. Так как нужно было зарабатывать на жизнь, а клубы садомазо — места посещаемые, то она выбрала именно их и скоро стала главной в весьма известном шоу. «Эй, господин Язаки, скажите-ка мне, чем я, по-вашему, должна бы заниматься?» — временами вопрошала она. Я же постоянно долдонил: «Быть бы тебе психиатром!» «И в чем же кайф?» — прибавляла она, проводя кончиком языка по губам. Я объяснял, что эта работа заключается в помощи страдающим. «Да что вы говорите! Я этим как раз и занимаюсь». Она уже работала в клубе. Говоря со мной, она пожимала плечами, как будто в моих словах не было никакого смысла. Но когда я рассказывал ей о своих приступах, она всегда слушала очень внимательно. Как-то вечером мы решили поставить своего рода эксперимент. Все должно было происходить в одном отеле в Миддлтауне, достаточно странном доме постмодернового стиля. Мы сняли там номер за семьсот баксов за ночь. Был у нас с собой и пакет с марафетом. Но в самом начале эксперимента мы так закинулись кокаином, что позабыли о его цели и стали звонить в агентство девушек по вызову. Знал я один клуб, принимавший «Американ-Экспресс», которой я всегда расплачивался за девочек. Вам неприятны мои слова? Да уж, действительно. Однако я промолчала. Секунду Язаки следил за моей реакцией, а затем вновь ухватился за нить своею повествования. Он начал говорить, чуть оскалившись; в его улыбке чувствовалось удовлетворение, казалось, он ждет подтверждения тому, что его слова вызывают у меня физическое отвращение.

— Кейко активно участвовала в наших съемках, например, когда требовалось участие молоденькой девушки, и она не стеснялась откровенно выражать свое мнение. Ее замечания были всегда к месту. Она умела выбрать нужную мизансцену. В этом она походила на меня, а

впрочем, все кончилось тем, что мы начали мало-помалу уставать друг от друга. Рейко появилась как раз в это время. Она была странной девицей. Ее энергия была удивительна. Упорная, необычайно красивая, очень сильная физически. Она могла двумя пальцами согнуть чайную ложку, что время от времени и проделывала. Мне кажется, если бы она так не интересовалась танцем, музыкальной комедией и кино, то вполне могла бы стать жрицей в одной из этих новых сект. Обладая фантастическими способностями, в то время она не знала, как их применить. По этой причине она научилась сознательно подчиняться, но только во время съемок, как будто они представлялись ей неким ритуалом прохождения или же способом раскрыть себя. Я был убежден, что ей это нравилось. В японской сексуальной индустрии таких можно насчитать тысяч пятьдесят. Гигантское число женщин, любящих состояние покорности, подчинения, рабства. Огромное их количество мечтает только о том, как примазаться к якудза, по возможности к искалеченным, тяжело больным и туберкулезникам, которые в любое мгновение могут их избить до полусмерти или прижечь кожу зажигалкой. У некоторых девушек серьезные проблемы с их отцами. Рейко — типичный случай, наглядный, как анатомическое пособие. Единственное, что ее отличало от всех остальных, так это ее красота. И она отлично это понимала. Красивая и сообразительная. Теперь, после некоторых размышлений, я знаю, что это пара метр, лишенный измерений. Девушка в поисках субъекта, которому можно подчиниться. Это чистая случайность, что она встретилась со мной в тот период своей жизни. Я был для нее не более чем посредник. Сдохни я тогда, она тотчас же нашла бы мне замену. То же самое и с моими приступами — я никогда не видел в ней участия. Все казалось ей совершенно естественным, будто бы ее не касающимся и уж точно не дающим повода для страданий. Когда у меня случался приступ, я напрасно жаловался, она даже не пыталась помочь мне, как это делала Кейко. «Ах, ну да, действительно! Как вы себя чувствуете? Что, начинается?» — вот все, что она могла сказать. Нет, плохо дело, неудивительно, что я жаловался, ведь ничего из нее не вытянешь. «Ну, так и есть. У вас действительно лихорадка. Хочу узнать, а почему бы вам не сходить проконсультироваться к врачу? О, это ужасно! Что же происходит? Что делать!» И далее в том же духе. Не помню точно, когда мы поехали вдвоем в Аризону. Мы вылетели из аэропорта имени Кеннеди в Даллас, а оттуда — в Феникс. Это началось ночью накануне, нет, за две ночи: мы приняли невообразимое количество наркоты, были адские глюки, а потом, в самолете, сразу после завтрака у меня начался озноб, я трясся в лихорадке, меня едва не рвало, и я на самом деле боялся сойти с ума...

Конечно, тот, кто ведет такую жизнь, должен привыкнуть к подобным вещам, привыкнуть нетрудно. Но я никогда не забуду произошедшее со мной в том самолете. Мне в какой-то мере стало понятно, что может быть самым захватывающим в высшей точке ужаса. Я был бы счастлив, если бы вы могли понять то, что я пытаюсь сказать.

Произнеся все это, Язаки пристально посмотрел на меня. Было заметно, что он пытается что-то во мне оценить, измерить. Этим чем-то, скорее всего, являлась моя способность (включая и физическую) сопротивляться информации, шедшей от него.

— Я думаю, воображение не обязательно предполагает понимание.

— Вы умная женщина, — заметил он, криво улыбнувшись. От его улыбки мне стало не по себе. Мне было плохо еще и потому, что я поняла причину такого своего состояния. Ведь не прошло и получаса с момента нашего знакомства, а Язаки уже заставил мою душу рваться на части. Внутренне я пыталась увериться в том, что не пренебрегла своей работой, поскольку не была обязана добиваться этой встречи. Я пыталась убедить себя и одновременно понимала, что это бесполезно. Все, что рассказал этот человек, странным образом проникло в меня и теперь постепенно разрушало. Я не ощущала никакой подавленности или неполноты. У меня были друзья, мужчины, совсем не похожие на Язаки, общение с которыми приносило мне

удовольствие. Мне нравился мой образ жизни, и у меня не было повода испытывать ни малейшего недовольства. Не будучи лиходеем. Язаки источал аромат зла... Зло... Ложь и обман, предательство и отчаяние, нигилизм и самовлюбленность, эгоизм и высокомерие — эти слова вихрем пронеслись в моем сознании. Его лицо, тело, манера общения воплощали в себе все самое отталкивающее в мужчине. Я повторяла это еще и еще, но чувствовала, как внутри меня начинает подниматься и бурлить, словно зловонная жидкость, неистребимое желание. Желание вытолкнуть из себя эти переживания, которые Язаки старался внушить мне со всей мощью своего информационного потока. Думаю, если бы в этот момент здесь были мои знакомые, то они бы меня не узнали. Я не понимала самое себя. Я испытывала почти ревность ко всем этим женщинам, к Рейко и Кейко, да и ко всем прочим, кого только называл Язаки. Я была вынуждена бороться с желанием стать на их место, чтобы сохранить ощущение физического отвращения, которое я все еще продолжала испытывать. «И все-таки, да, все-таки, к примеру» — эти слова вдруг всплыли в моем сознании, казалось, издеваясь надо мной. «И все-таки, к примеру, все-таки, к примеру, все-таки, к примеру, все-таки, к примеру...» Я повторяла это вполголоса по-английски, пофранцузски, по-немецки. «И все-таки, к примеру, все-таки, к примеру, все-таки, к примеру, все-таки, к примеру, все-таки, если бы, например, Язаки...» «Не согласились бы вы зайти ко мне домой и продолжить нашу беседу? Пара дорожек кокаина?» И всетаки, если бы Язаки предложил мне такое, я не уверена, что смогла бы отказаться. Нет, возможно, я и стала бы отказываться, но потом долго бы упрекала себя за этот отказ, как будто он противоречил желанию какой-то части моей души.

Язаки тем временем опустошил третий стакан. Он успел выпить три двойных «Tio Pere» в течение нескольких минут. Первый раз в жизни я видела, чтобы человек мог так пить и при этом не выглядеть алкоголиком. Наоборот, он казался трезвым. Создавалось впечатление, что при таком способе пить алкоголь совершенно не действует. Я воспользовалась случаем задать ему вопрос, но он остановил меня и заказал четвертый стакан.

Кажется, вы очень любите шерри? Нет, нельзя сказать, чтобы очень, — ответил он с таким видом, как будто хотел сказать: «Кой черт тебя дернул задавать такие вопросы?» Я так подумала, глядя на то, как вы пьете.

Как обычный алкаш? Да нет, не в этом смысле.

Я не алкоголик и не наркоман, я вообще не джанки.

Вот как? Не все так просто.

Просто? Некоторые довольствуются тем, что подвисают на кокаине, героине или еще на чем-нибудь. Чаще, конечно, на героине, ОН прямо создан для этого. Вы смотрели «Однажды в Америке» Серджио Леоне? Разумеется.

Помните улыбку Де Ниро в самом конце? О'кей. Такая улыбочка свойственна человеку, который в мазохистском порыве вдруг становится подобным предмету мебели или безделушке, но особенно она свойственна тем, кто идет танцевать в клуб, наглотавшись ЛСД. Вы принимали ЛСД? Я покачала головой.

На самом деле это не обязательно. Тем не менее, когда я был ребенком, ну хотя мне тогда уже исполнилось двадцать, ЛСД, ДМТ, мескалин и грибы были в большой моде. Иными словами, в основном употреблялись галлюциногены. Думаю, я входил в те времена в «горячую десятку» любителей ЛСД в Японии. Потом мне пришлось бросить это дело, потому что я дошел до того, что перестал контролировать свои действия. Вернее, я тормознулся именно из-за того, что делал. Конечно, были и другие причины. Но главная заключалась в потере контроля над ощущениями Да еще в моем физическом состоянии, которое пугало меня больше всего, и это было невыносимо. Пугало — ну, это я преувеличиваю; я бы сказал, что испытывал сильнейшее отвращение, отвращение к метаболическому распаду сознания. Дело в том, что больше всего в

жизни мне нравится наблюдать, как зарождаются отношения между двумя личностями, например между мной и... кем-нибудь еще. Я говорю «отношения», но имею в виду отношения сексуального характера, остальное — досужая болтовня или же просто деловые контакты. Ну как? Я согласилась. Даже не знаю почему. На самом деле я ничего не поняла из того, что он говорил, и не была убеждена в его правоте. Тем не менее, я согласилась. Несмотря на то что не люблю разговоров, где в конце концов появляется слово «секс». Что-то еще меня беспокоило. Я пыталась это выяснить. Но я уже устала сопротивляться его попыткам подчинить меня своей воле.

Мой рассказ становится все более и более путанным, — сказал Язаки, опрокинув четвертый стакан.

Я снова согласилась с ним. По правде говоря, все более и более путанными становились мои мысли, поскольку речи Язаки следовали какой-то странной логике.

Так о чем я говорил? А, ну да, о шерри. Так ведь? И я кивнула опять. У меня было такое впечатление, что я превратилась в марионетку.

Не могу сказать, что не люблю херес. Как-то очень давно и поехал в Торрес. Вы когда-нибудь были там? Я не могла и припомнить, где находится такой город. Поэтому я пробормотала «не знаю». Причем почувствовала внезапно нахлынувший стыд. Такого чувства стыда я еще никогда не испытывала. Краска залила даже уши, а я не могла объяснить себе, чего собственно стыжусь.

Зачем я туда поехал? Не иначе для того, чтобы побывать па гонках «Формулы-1». Должно быть, так. Временами у меня возникает ощущение, что я ездил туда в какой-то другой своей жизни, поскольку точно не мог быть там в детстве. Я прекрасно помню замечательную местную ветчину. Ее можно было найти повсюду. Целые окорока, выставленные у входа в каждый ресторан. Более насыщенного красного цвета, чем, скажем, итальянская. Цвета, близкого к цвету крови. Эти окорока, вероятно, играли роль вывесок: «Убедитесь, какая прекрасная ветчина в нашем ресторане!». И кухня была превосходной во всех отношениях. Интересно, эта ли, выставленная в любой лавке, ветчина являлась определяющей характеристикой того города? Она была великолепна. Я вспоминаю, как выпил три бутылки «Tio Pere» с хлебом и этой ветчиной, а ведь нас было всего трое! Потом, когда мне выпал случай снова побывать в Испании, я попытался найти ту же ветчину. Однако не припомню, чтобы ел ее в Мадриде, Барселоне или Севилье. Странно, не правда ли? Не знаю почему. Вспоминая эту историю с ветчиной и «Tio Pere», я постоянно испытываю ощущение, что это были события совсем другой жизни. Возможно ли такое, чтобы моя жизнь разделилась на две части? — Это как-нибудь связано с вашим экспериментом? Вероятно. Да, с точки зрения хронологии событий это так, но, откровенно говоря, такой же вздор, как и утверждение, что я стал бомжом из-за Рейко. Так всегда думала Кейко. Вообще же Кейко и Рейко совершенно не могли понимать друг друга. Если быть более точным — между ними никогда не было ничего общего. Да и что общего могло быть между ними, когда даже для их знакомства отсутствовали малейшие основания? Все это было ради шоу-бизнеса. А утверждать, что я стал бомжом из-за того, что меня бросила Рейко — в чем до сей поры ее и обвиняет Кейко, — значит не понимать очевидного. Честно говоря, я абсолютно не знал, кто такая на самом деле эта Рейко, вот что ужасно. Для меня самым страшным после потери зрения является осознание собственной неуверенности, а неуверенность неизбежно заканчивается распадом всех человеческих связей по причине состояния зависимости, в которое вы попадаете. Вы так не думаете? Так, следовательно, вас tolkнули на путь бродяжничества личные причины? Язаки посмотрел мне прямо в глаза:

Для того чтобы стать человеком действия, не нужно никаких других причин, кроме личных. А сам образ действий не имеет значения.

Он произнес это с таким видом, будто хотел сказать: «Ну ты действительно полная дура или как?» Бар тем временем начал наполняться людьми, становилось шумно. Я почувствовала, как мои уши снова залились краской. Язаки открыто смеялся надо мной.

Ах да? — пролепетала я, и меня бросило в жар. — А вы не думаете, что здесь могут иметь место некоторые причины социального характера? Это просто другое название того же явления.

Он торжествующе засмеялся. Было заметно, как он доволен своим ответом. Я вдруг забыла вопрос, который хотела было ему задать.

На самом деле... — прибавил он, — на самом деле я надеялся провести нечто вроде мистического эксперимента в духе отшельника. Жизнь, что ведут бомжи, как бы это проще выразиться, представляет собой весьма жалкое существование. Трудно, сидя здесь, в этом самом кресле, рассказывать о природе и степени этого убожества. Надежда... Да, несомненно, это потеря всех надежд во всем своем ужасе. Существование по ту сторону отчаяния, страха и этого ужаса, то, что в конце концов приводит к атрофии. В биологическом смысле. Я знал многих, кто потерял способность разговаривать. Нет, дело не в потере речи как таковой, просто эти люди больше никогда не произносили ни слова. Немые — не в том смысле, что они потеряли дар речи, а, как я полагаю, отдалились от самих слов. Живя среди них, вы попадаете, как бы сказать, в некую ауру, которая вас быстро разрушает по мере проникновения. Зародыш разрушения начинает разрастаться в вашем теле, просачивается и бьет ключом, липнет к каждой клеточке, ко всем вашим органам, и при этом, что самое невероятное, вы испытываете ощущение блаженства. Вы следите за моей мыслью? Это нетрудно. Это уже не вопрос психологии. Я не знаю, как правильно это объяснить: все равно что проще потонуть, чем научиться плавать. Тем не менее, среди них находились и те, кто пытался ползать и поднимать голову. И это являлось для всех них замечательным источником энергии. Был такой Саварич, еврей, который пересчитал носом все ступеньки социальной иерархии, стал бомжом, чтобы забыть «Мэрил Линч». Знакомство с ним имело для меня огромное значение...

Послание призрака. Возвращение из ада... Как мне удалось оттуда вырваться? Вот о чем должно было быть это интервью, но человек, сидевший передо мной, оказался совсем другим. С момента нашего знакомства прошел почти час, а Язаки хоть и говорил только про себя, но о себе так ничего и не сказал. Он начал с рассказа об этой актрисе, Рейко, и о том, как она снималась в его фильме, однако ни слова не прозвучало ни лично о нем, ни о Рейко. Следовало, что Рейко лишь исполняла роль японки-террористки. В своем блокноте я сделала такую запись:

Язаки — человек без лица. «Частный, общественный...» Такие слова употребляют, говоря о парке или зале для собраний. Я плохо понимаю, что кроме этого может выражать отличие.

Язаки, посмотрев на меня, не мог удержаться от улыбки. Я же спрашивала себя, не следует ли прекратить эту беседу? Было бы абсолютно невозможно составить портрет человека при наличии такой скучной информации.

— Наш разговор стал каким-то путанным.

Сожалею. Я не постарался придать стройности своему рассказу.

Это вовсе не так. Напротив, в каком-то смысле в ваших словах можно найти некую высшую логику, — возразила я, почувствовав, как рушатся все мои защитные барьеры, которые пыталась взвеси. И то, что я только что ей сказала, было той самой единственной вещью, о которой думала с первого мгновения нашего знакомства.

Хм, логично... — Он кивнул с видом, который мог означать: «Ну вот, вы же все-таки способны говорить о чем-нибудь интересном!» — Я мог бы сосчитать по пальцам людей, которые мне говорили подобные вещи. На самом деле Рейко и Кейко говорили примерно тоже. Простите, что опять вспоминаю о них, но я не смог бы выразиться более абстрактно. Кейко и Рейко были первыми женщинами, с которыми бизнес, наркотики и секс казались единым целым. Только бизнес и только секс или наркотики и бизнес, а может, наркотики и секс — я знал девушек, сочетавших не более двух этих составляющих. Но только в тех двоих присутствовали все компоненты. Я думаю, что всё, интересующее вас, — это причины, по которым я стал бомжом, и еще... короче, все это неразрывно связано с Кейко и с Рейко.

Мне показалось, что Язаки сказал это, чтобы доставить мне удовольствие. Достаточно было отметить логичность его повествования, чтобы он тотчас же повел себя так, как и требовалось для классического интервью. Догадался, что мои барьеры пали? Или просто обрадовался одобрению и пониманию? Я вам говорил о том, что произошло со мной в самолете на рейсе Нью-Йорк — Феникс. В действительности Кейко была тогда с нами. Это было самое начало моей связи с Рейко. В Нью-Йорк мы прилетели вместе, втроем. Не далее чем через десять дней я бросил Кейко. У меня была мысль задействовать их обеих в музыкальной комедии, которую снимал, и я взял их с собой как раз под этим предлогом. Путешествие оказалось тяжелым. Мне особо не нравится обладать женщиной, полностью мне подчиняющейся, гораздо лучше смотреть, как она сама добивается успехов в мазохизме. Я не могу трахать нескольких одновременно. Дальше, двух комнатный номер в «Плазе» стоит по меньшей мере две тысячи двести долларов плюс плата за проживание — девятнадцать процентов, и вот вам ночь за три штуки баксов. Правда, была необходима именно такая обстановка: в каждой комнате огромная постель, на каждой постели — обнаженная женщина, рояль в гости ной и я, развлекающийся кокаином.

Можно вопрос? Конечно.

Почему ваш интерес переключился с одной на другую? Зачем было уходить к Рейко? Рейко более удобна.

— Удобна? — вырвалось у меня.

Конечно, в каком-то смысле мне было интересно, что же значили обе эти женщины для него, но я даже не собиралась задавать вопросы на эту тему. Я не настолько глупа и не терплю сплетен. Честно признаться, я все больше и больше сомневалась в целесообразности затеянного интервью, а если точнее, мой интерес к нему становился двойственным. Мне было известно, какого рода информацию хотят получить от меня мое пресс-агентство и главные редакторы. Я понимала, каковы их ожидания и какова пропасть между этими ожиданиями и нью-йоркской реальностью. Ни прессы, ни общественное мнение даже представить себе не могут, что такое на самом деле Нью-Йорк, да и Соединенные Штаты вообще. Мои репортажи должны соответствовать ожиданиям большинства, должны быть истолкованы и преподаны так, как их желают толковать и понимать японцы. Они должны полностью удовлетворять и соответствовать их предрассудкам. И не обязательно по отношению только лишь к Штатам, но также и к любой другой стране и в какой угодно области. А невольный вопрос, вырвавшийся у меня, не имел к этому никакого отношения. Как только Язаки сказал, что нашел Рейко более удобной, я тотчас же поняла, что он относился к ней как к вещи или как к комнатной собачке. Услышав это, я испытала нечто вроде симпатии к девушке.

— Да.

Язаки кивнул. Мол, и так ясно, зачем спрашивать? Если я вас правильно поняла, мистер Язаки, — начала я, силясь улыбнуться (в стиле «посмотри-ка на улыбку прогрессивной феминистки»). Я сразу поняла, что такой, как Язаки, прочитает в моей улыбке все, что нужно. — Так если я вас правильно понимаю, мистер Язаки, для вас критерием выбора партнеров является степень их удобства или неудобства? На его лице промелькнуло беспокойство, казалось, он пытался решить, для всех или же не для всех применима такая практика.

Как правило, неудобные вещи быстро надоедают, разве нет? А всякие там влюбленности и прочее — в этом есть что-то нездоровое.

А вы не думаете, что есть вещи возвышенные и абсолютно бесполезные? Например? Спортивный автомобиль. Очень быстрый спортивный автомобиль с идеальными обводами, который постоянно попадает в аварии.

Машины меня не интересуют, и я не выбираю женщину, как выбирал бы машину.

Можете мне сказать, что именно отличало Рейко от Кейко? Так вы об этом собираетесь писать? Вас беспокоит личный характер нашего разговора? Да нет. С чего бы мне беспокоиться, болтая с такой умной и воспитанной женщиной, как вы? Умной. Моя улыбка мигом исчезла. Вроде бы Язаки и не собирался издеваться, но мне показалось наоборот. Он произнес «умной» словно «фригидной». И что удивительно, как только она перестала улыбаться, на его лице обозначилось легкое беспокойство.

Не поймите меня превратно, — спохватился он, — я вовсе не иронизирую, говоря про ваш ум. Мое первое правило: никакой иронии. Терпеть не могу.

Вы не из тех, кого могли бы назвать нигилистом? Не знаю. Я сказал бы так: у меня нет времени на остроумие, смех и иронию. Эти вещи требуют большого досуга.

Досуга? Да, досуга. Человек, у которого есть время на такие вещи, не хлопал бы здесь стакан за стаканом. Причем двойные порции. Да так, что уже невозможно различать вкус. А что до моей частной жизни — мне наплевать, как это будет выглядеть в японской прессе. У меня нет семьи, и мне все равно, что японцы подумают обо мне. Но и Кейко, и Рейко еще живы. И, надо сказать, живут совершенно не такой жизнью, как я. И относятся к своей жизни очень серьезно. За это я и любил их. Кейко и Рейко всегда останутся серьезными, насколько я их знаю. Даже на краю гибели. Я не хотел бы причинять боль тем, кого любил, или тем, кто любил меня.

Этим обычно все и заканчивалось, но все-таки я не могу... Я знаю, что причинит им боль, и не буду делать этого.

Я была изумлена. Такая предусмотрительность по отношению к этим женщинам выглядела весьма убедительно. Был ли это расчет с его стороны? Играл ли он своими лучшими чувствами? Мне было не по силам решить эту задачу, зато так и подмывало, нарушив приличия, спросить об этих женщинах. Тем временем Язаки несколько умерил пыл, с которым вливал в себя свой двойной херес. Мгновение он смотрел на меня, потом замолчал надолго. Я пыталась найти деликатный предлог, чтобы возобновить разговор и поднять этот важнейший вопрос. Моя бесцеремонность явно его огорчила.

Пью много. Уже хороши, — наконец вымолвил он, бросив на меня мутный взгляд. По нему это было не заметно.

Не сказала бы, — ответила я, глядя на часы. Прошел почти час с момента нашей встречи.

Нет-нет, уверяю вас, я уже достаточно пьян, — стал настаивать Язаки, грустно усмехаясь.

Куцая улыбочка его, казалось, говорила: «Вот, мол, все, что осталось мне в жизни». И, несмотря на это, было в ней что-то убедительное.

Алкоголь делает меня чересчур болтливым. Хотя прозрение куда более мучительно. Ненавижу много разговаривать.

Почему? Это свойство пошляков. Но сейчас нет необходимости обсуждать этот вопрос. Не будь у меня охоты поговорить, мне достаточно было вам сказать: «До свидания, спасибо», — и раскланяться. Не сделать этого непростительно. Смешно, ей-богу, но вот болтать с вами доставляет мне удовольствие.

Не это ли удовольствие вам так ненавистно? Не судите поверхностно. Я не люблю испытывать это ощущение, причем не важно, с кем и о чем я разговариваю. Причина в том, что, по сути, это никакое не удовольствие.

Я не совсем понимаю, о чём вы говорите. Вы утверждаете, что беседовать и получать от этого удовольствие — заблуждение? Нет, не совсем так. В конце концов, я сам не знаю, о чём хочу сказать. Оставим эту тему, ладно? И, если не возражаете, я хотел бы сменить место.

Действительно, здесь стало слишком шумно.

— Вот и прекрасно. Язаки поднялся.

О, эти блядские американские бары! Поистине ничтожнейшие в мире места!

Если вы не против, мы могли бы дойти до моей квартиры, — предложил Язаки, — раньше у меня там был офис. Это совсем недалеко отсюда.

Мы вышли на Пятую авеню, прошли к Центральному парку, повернули направо и остановились перед огромным зданием в тяжеловесном испанском стиле, казавшимся сложенным из объемных каменных глыб, нагроможденных друг на друга. Мы находились у группы зданий отеля «Пьер». Никаких вывесок, кроме таблички с номером. Семь-восемь ступенек вели в холл, находящийся в углублении, скрытый за массивной и плохо освещенной аркой, казавшейся вырубленной прямо в толще камня. Было душно и сырь. Стойка покрыта полированной мраморной плитой пепельного цвета. За ней — служитель в синем костюме, занятый попеременным слежением за различными мониторами, нависавшими над компьютерным комплексом. Это был мужчина лет тридцати, латиноамериканец, но без малейшей примеси индейской крови, с лицом столь прекрасным, что перехватывало дыхание. Он изъяснялся по-английски с сильным испанским акцентом.

Добрый день, сэр, — обратился он к Язаки, слегка улыбнувшись, потом прибавил: — Вам пакет, — и протянул толстый конверт, заклеенный пленкой с буквами «DHL». Он открыл тяжелую стеклянную дверь, и мы прошли к лифтам. Кафельный пол был безупречным, дверь, медленно открываясь, издала звук, напомнивший мне писк кролика (в детстве у меня был кролик). Отделка кабины лифта должна была, по всей видимости, воссоздать атмосферу старых европейских гостиниц: массивные деревянные панели, целый ряд зеркал и обязательная роза в вазе богемского стекла, подвешенной в углу. Едва я вошла, меня окутал незнакомый и чувственный аромат. Трудно сказать, откуда он происходил: от розы или же был разбрзган какой-то дезодорант. С того момента, как мы вышли из бара на Пятой авеню, Язаки не произнес ни слова. Несмотря на быструю ходьбу, он нисколько не запыхался, хоть и уверял, что пьян. Я же, в свою очередь, войдя в лифт, почувствовала удушье, мне стало трудно дышать из-за этого цветочного запаха. Мигнула цифра «12», двери растворились, и первым, что я заметила, был необъятный бежевый ковер Я ощущала, как мои каблуки сладострастно погружаются в его толщу. Комнаты были не очень просторными, квартира, характерная для Аптауна, с видом на Центральный парк. Никаких труб, сомнительная афиша, брошенная прямо на пол шкура дикого зверя, забытый шприц — все это создавало ощущение наивной и одновременно настораживающей простоты. Двухспальная кровать, покрытая бархатным покрывалом,

громадный стол, наверно, очень удобное кресло, возможно итальянское, с широкими подлокотниками, обтянутое зеленой кожей. Обстановку дополняла этажерка, помещавшаяся против окна, на которой рядом стояли факс, портативный ксерокс и компьютер. Язаки предложил мне зеленое кресло, сам же зашел за прозрачную акриловую перегородку, что отделяла кухню, и занялся поисками спиртного.

Немного вина пойдет? — раздался его голос.

— Да.

Он вышел, держа в руке бутылку «Шато Мутон» 1970 года

Да вы что, такое вино! — попыталась запротестовать я. Язаки сделал вид, что не слышит, и откупорил бутылку.

— Куда подевались бокалы? — пробормотал он и налил темную жидкость в хрустальные стаканчики. — Знаю-знаю, — начал он, протягивая мне вино, — такое вино можно пить только по важному поводу, ну там, день рождения или праздничный обед... Но как сказать? С этим вином связана моя история. Кроме того, в свое время я преспокойно мог выпить пять ящиков по двенадцать бутылок каждый, представляете? Нет, конечно, я не собираюсь пить его, как пил только что херес. Знаете, к такому чудесному вину сейчас не помешало бы добавить малость кокаинчика да оттянуться, а? На кокс у меня легкая рука. Не могу удержаться, особенно когда немного напряжен. Не смотрели «Блуждающий огонь» Луи Мая? Морис Ронэ там играет одного алкоголика. Точно не помню, но, кажется, его кто-то спрашивает, почему он так пьет. «Если бы я не пил, то был бы неспособен доставить женщине удовольствие. Я бы кончал слишком быстро», — ответил он. Мне часто вспоминаются эти слова, что-то в них есть. Нет, я не нюхаю кокаин для того, чтобы нормально потрахаться. Если у нас с Морисом Ронэ есть общие черты, так это, несомненно, неуверенность. Я не способен расслабиться в компании, да, впрочем, не важно. Долгое время я отказывался признаться в этом. «Шато Мутон» прекрасно сохранилось с семидесятого года. Я чувствовала, как живительная влага разливается внутри моего организма и в ту же секунду впитывается в каждую его клеточку. Было такое ощущение, будто эта бурая крепкая жидкость растворяется во мне. Почему Язаки так уверен, что не сможет со мной расслабиться? Первый раз, знакомясь с кем-нибудь, я всегда чувствую напряжение. Тот факт, что в прошлом году мне исполнилось сорок, ничего на самом деле не изменил. Уверен, так будет до самой смерти.

Точно ли мы находились в его офисе? Если вы глянете в ваши записи, вы узнаете, что в прошлом я был полностью, абсолютно разорен. Все мои счета были заморожены. Кейко очень зла на Рейко, так как известно, что из-за этого банкротства я оказался на улице, и это было непосредственно связано с Рейко. Кейко все это отлично знает. Офис, в котором мы сейчас находимся, никогда не значился в списках моего имущества и, соответственно, не попал под арест. В те времена я перепробовал все. Я начинал крутить дела, так что забывал о самом себе. Случалось, это приносило мне чертову уйму денег. Моими делами занимался мой близкий друг, агент. Он благоразумно не работал через японские и американские банки. Благодаря его знакомствам со штатовскими промоутерами, а также благодаря процентам по авторским правам, что я приобрел главным образом в Латинской Америке, он купил для меня эту квартиру.

Я выпила почти весь стакан, не отдавая себе отчета в том, что смотрю во все глаза на Язаки. Тот заметил, что, мол, неправда, красного вина явно недостаточно, чтобы развязать язык. Потом он насыпал на стеклянный стол, за которым мы сидели, белого порошка и стал разравнивать его краешком кредитки «Американ-Экспресс» так, чтобы получилась длинная полоска. Я спросила его, как это полностью разоренный человек, авуары которого заблокированы, еще владеет такой картой. Язаки промолчал и разом втянул в себя всю кокаиновую полоску, в десять сантиметров

длиной.

— Вам не кажется, что я становлюсь все более и более чувствительным по сравнению с началом нашего свидания в баре? Можете говорить искренне.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — ответила я. Язаки не предложил мне кокаина, но в любом случае я твердо решила отказаться. Пройдет немного времени, и действие кокаина, усиленное алкоголем, будет подобно цунами. Теперь так уже никто не делает. Это называлось, так сказать, «закуской» — маленькое удовольствие, способное слегка оттенить серость обыденности. Я знаю времена, когда такое весьма ценилось в артистических кругах или среди студентов, еще ничего не понимавших. Кокаин стоил гораздо дороже других наркотиков, поэтому он никогда не был широко распространен среди молодежи. Едва только эта мода стала шириться вплоть до сельской местности и уже прочно закрепилась в более консервативных кругах, как появился более доступный крэк, благодаря которому кокаин и потерял статус «закуски». После того как в обществе окрепли очистительные тенденции, без всякого сомнения, в связи с угрозой СПИДа, кокаин стал рассматриваться как явление, сравнимое с «кухонным алкоголизмом». Так обозначают бытовое пьянство, которому подвержены домохозяйки, квасящие потихоньку на кухне. А поскольку неуклонно растет также количество токсикоманов, то, по моему мнению, проблема эта связана не столько с кокаином, сколько с необычайным духовным кризисом, охватившим все американское общество. Кокаин стал привилегией богатой и интеллектуальной элиты, и поэтому его больше не считали бедствием. Возьмите, к примеру, Боба Фосса на вершине его славы в начале шестидесятых. Кокаин был тогда тем признаком, по которому узнавали настоящего жителя города, и он ловко этим пользовался. Он умел «обуздывать» свое влечение. Красивое слово. С оттенком элегантности. Тогда никто не стеснялся употреблять его. И я, посещавшая небольшую студию танца в Бостоне, не испытывала ни малейшего отвращения к кокаину. И теперь не испытываю. У меня есть знакомые, для которых закинуться коксом все равно что выпить чашечку чая с кофем или выкурить добрую трубку черного табака. Я ничего не имею против небольшой дозы, и время от времени мне случается попробовать. Но то, что испытывал к кокаину Язаки, было совсем иного рода. Достаточно вспомнить, как он пил херес... Причем Язаки вовсе не походил на всех этих джанки, истерзанных мистическими ожиданиями, не мучился отчаянием, как ребята из Испанского Гарлема или Южного Бронкса. Я еще не могла найти слов, чтобы описать природу влечения Язаки. Однако чувствовала, что Язаки, нюхающий белый порошок, может быть гораздо опаснее обдолбанного придурака с ножом. Гораздо опаснее насильника, так как тот мог избежать насилия, а мне казалось, что невозможно избежать того, что носил в себе Язаки. Я инстинктивно понимала, что это прямо связано с моей собственной страстью. Язаки испытывал к кокаину такое влечение, какого я еще не видела, — животное и чувственное.

— Да, идея этого фильма, о котором я вам недавно рассказывал, пришла мне именно на Барбадосе, — заговорил Язаки, выщекивая свое вино, словно колу. — Да, я думаю, что это случилось именно там. Я не так часто бывал на островах Карибского моря. Я был сколько-то раз на Кубе, один или два раза должен был быть в Пуэрто-Рико или на Гаити, но вряд ли бывал где-то дальше. Я думаю... Да, я думаю, вам должны показаться странными такие слова. С недавнего времени моя память постоянно выкидывает такие фокусы. Невероятно! Черт бы поборал мою задницу, это невероятно! Мне всего сорок два года! Удивительный случай, ведь я никогда не баловался вещами, способными отшибить память. Это настолько невероятно, что задаешься вопросом, что она такое и для чего она нужна. А нужна она для того, чтобы вы поняли, кто вы есть. Здесь, сейчас, в данный момент. Вы думали об этом? Да, — все что я успела вставить, пока Язаки не заговорил снова.

Он распинался так, будто рядом никого не было. Мне оставалось лишь кивать, как кукла, на

все, что бы он ни говорил. Если честно, я пыталась как-то иначе реагировать на его слова, однако это не производило ни малейшего впечатления. Язаки был весь под действием кокаина, причем создавалось впечатление, что он борется с собственным сознанием.

Почему? Почему я не могу говорить о себе? Ей-богу, ненавижу. Все равно что концептуализировать свои желания. Вы не находите, что это звучит несколько претенциозно? Концептуализация своих желаний! Ненавижу эту сволочь, называющую себя творческими людьми. Несколько картин, немного музыки, хоп — и готово! Нет ничего более пошлого, чем вот таким образом выражать себя в желаниях — я уж не говорю о мастурбации. А самое удивительное, так это то, что большинство людей безгранично преклоняются перед ними! Плевать я на них хотел! Лучше сдохнуть, чем быть похожим на них. «Хорошо, — спросите вы меня, а что же делает продюсер?» Зарабатывает. Навлекает на себя проклятия. Продюсер никогда ничего не творит. Это всего лишь человек, заставляющий работать других. Заставляющий работать деньги. Бабки, бабки! У него нет ничего общего с творческими людьми. Ну, на мой взгляд, их еще можно простить... Я, например, всегда продюсировал только музыкальные комедии. Музыкальные комедии! Вы понимаете?! Уж я насмотрелся там на танцов! На девяносто девять и девятьдесятых — бездари и дермо! Без исключения. И всетаки... Я до сих пор не могу понять, как такие люди способны любить свое дело. Что-то в них неладно. Ведь танец — штука более символичная, чем песня, например. Танец выражает тьму разнообразных вещей, вплоть до самых незначительных и ничтожных. И уж если существует в этом блядском мире истинный критерий, так это балет, и ничего другое. Только так можно узнать, хорош или плох артист. Однако этот критерий ни черта не значит в большинстве случаев для всех этих дермовых шлюх, для девяноста девяти и девяты, девяты, девяты, и еще сколько-то там после запятой. Конечно, существует несколько гениев. Мужчин. Нуреев и Фред Астер в двадцатом веке. И это все, если вы говорите о настоящих танцорах. Все остальные — дрянь. Другое дело женщины. Поглядите на теперешних мало-мальски известных солисток. Вы не увидите среди этих девиц ни одной с дурной фигурой, не правда ли? Мне нравятся также маленькие провинциальные циркачки, а еще больше — Брук Шилдс, которая, правда, не танцует, но все равно не чета этим коровам. Вы можете подумать: а в чем заключается необходимость танца? Ни в чем. Нет никакой необходимости. Исследуйте под микроскопом хоть каждую клеточку человеческого организма, и вы не найдете ни одного гена, отвечающего за танец! Извините, плохо разбираюсь в этом вопросе и лучше остановлюсь.

Я ненавижу Мориса Бежара. Я помню, как меня трясло, когда я видел Сильви Гиллем, девушку, обладающую потрясающей техникой, танцующую в «Болеро». Есть замечательные танцовщики в здешних индейских труппах или в танцевальных коллективах со всего мира, что подвизаются в Нью-Йорке. Да, прекрасных артистов полно, начиная с нью-йоркского Сити-балет и вплоть до Бродвея и Голливуда, даже в Майами и Лас-Вегасе, среди скопища бездарей из танцевального шоу. Их можно найти и еще ниже, среди тех, кто занимается современным танцем, или в этих кошмарных фолкгруппах. Ну да, даже там. Но и здесь вы не встретите ни одного японца. Видите ли, у японцев есть существенные недостатки — лицо и строение тела. Грустно сознавать, но это так. Увы, японцы некрасивы. Я так и остался сидеть на собственной заднице, когда смотрел «Бхакти», поставленный такой труппой в Виллидж с хореографией Бежара. Бежар. Вот гениальный тип! Когда-то я был убежден, что он гений двадцатого века, хотя не сказал бы этого, глядя на его труппу. Но я ошибался — это вовсе не так. Бежар — мошенник. Нууль. У меня нет ни времени, ни слов, чтобы показать вам всю ничтожность этого человека. Но я знаю, что и в «Болеро», и в «Бхакти», где с труппой индийских артистов танцевала Сильви Гиллем — женщина сдержанная, но одаренная, — в этих двух произведениях против Бежара содержатся все свидетельства обвинения. Там имеются главные доказательства,

которыми я, словно Шерлок Холмс или Пуаро, могу припереть преступника к стенке. Ну а если все это в конце концов окажется бесполезным, уж я — то знаю, что именно там все то, что ненавижу. Бежар, и это действительно трудно представить, здесь соединил все: традиционную символику классического танца и свою псевдокритическую оценку, стараясь придать этой традиции самое ясное выражение, после которого не оставалось бы ничего. А на самом деле он всего-навсего повторяет каноны классического балета, от которых не в состоянии отойти, ибо только благодаря им и пользуется авторитетом. Вот вам и весь Морис Бежар! Даже если я и не отрицал никогда его заслуг, все равно для него есть смысл посмотреть мои работы, тем более что все обличения такого рода в действительности — только шаблонные места нью-йоркской и лондонской критики... Так, интересно, что же я хотел вам сказать? Нет, я вовсе не забыл. Мне нужно только это понять а то, что хотел сказать, я прекрасно знаю. Вот только слов не могу подобрать. Не нужно было отклоняться от темы, ведь то, что я хо тел сказать вам, никоим образом не касалось Мориса Бежара. Я не страдаю умственным расстройством, хотя это и не относится к теме интервью. Я не уверен, что смог бы это выразить, даже если бы попробовал написать на эту тему исследование. Кому я мог рассказать об этом в течение всех своих сорока двух лет жизни? О том, что заставляет меня ненавидеть это ничтожное существо, что я есть, эту презренную тварь, в которую я превращаюсь, когда мне плохо; что возбуждает отвращение к самому себе, охватывающее меня, когда мне хорошо настолько, что я начинаю шизить, словно мой мозг работает как турбина, словно я лежу на гребаном облаке, обязаный таким состоянием наркотикам и своим сверхъестественным возможностям. Сам факт наличия стремления что то кому-то передать, донести — несусветная гнусность. Тем более что вы никогда не найдете в этом мерзком мире, ну, если, конечно, не брать в пример львов или медведей, ни одного живого существа, которое не подавляло бы простого желания кое-что сообщить. или передать. В этом есть нечто бежаровское. В Соединенных Штатах самой характерной фигурой современности мог бы стать Оливер Стоун. А ведь оказывается, что это стремление обязательно кое-что сообщать непременно влечет за собой такое уважение и почитание, как будто это самое что ни на есть похвальное качество, тогда как по сути своей — один позор. Я знаю, что возвышенный всегда беспокоен. Никогда не забывайте, что все, кто озабочен стремлением передавать и сообщать, не живут в реальности. Несчастные они люди. Все это противоестественно.

Я понимаю, что передал Кейко и Рейко тридцать-сорок процентов из того, что хотел. С Кейко я и теперь иногда разговариваю по телефону. А с Рейко решил никогда больше не встречаться и не созваниваться. Я хочу освободить себя. Я пытаюсь это сделать уже два года, так как начал ненавидеть то, во что превратился из-за нее. Рейко... Я много с ней разговаривал. Я рассказал ей о многом, в том числе и о том, о чем хотел бы рассказать вам, — и о сексе, и о наркотиках, и о бизнесе. И насколько уверен, что передал ей огромное количество информации, настолько же убежден, что она поняла все не так. Об одном могу сказать со всей ответственностью: я ненавижу, ненавижу всем существом передавать информацию. Нужны ли танцы? Особенно классический балет, сам жанр которого не смог бы существовать без всеобщего мазохизма, мазохизма, возведенного в высшую степень, мазохизма настолько откровенного, что потребуется новая, неизвестная форма танцевального искусства, чтобы можно было бы от него избавиться. Факт тщетности таких попыток сам по себе может служить доказательством. Говорить так — это еще не значит быть нигилистом. Это всего-навсего правда. Помнится, что, когда я так же разговаривал с Кейко и Рейко, они вежливо меня слушали, покорно соглашались, принимали все, что бы я ни говорил. А!... Не хочу больше об этом думать! Дерьмо, дерьмо и дерьмовые воспоминания! Однажды я полюбил манекенщицу. Конечно, она не была всемирно известной топмоделью. Высокого роста, с длинными ногами. Помню, как пытался говорить с ней. У нее было что-то вроде чувства юмора. Она была

достаточно изысканна, и мне нравилось над ней подшучивать... Где же это было? Забыл...
Отель в квартале

Акасака или в Ницце? Голубые, облизывающиеся, когда у их кошечки начинает течь эта... Как это называть? Простите, что при вас приходится затрагивать такую тему, да еще при первой встрече Гнусная такая штука, что по вкусу только извращенцам, непонятное вешество, что-то вроде выделений, похожее на белый сыр, да, немного склизкий белый сыр. Я говорю об этом, чтобы показать, что напоминают мне мои беседы с Кейко и Рейко, понимаете? Именно это. То, что я испытываю сейчас, под кокаином, готовым крыть их бесконечно, хоть до утра. Я говорил с ними так, как большинство людей говорило бы о вещах более глубокомысленных и выразительных, я же говорил о кино, об этом сценарии о кастингах, музыкальных комедиях, о хореографии, стараясь заставить их понять. Сейчас я вижу, что все это — дермо, да, кусок дерма, как та клейкая гадость, скопившаяся в складках вульвы у той манекенщицы, на которую соблазнился бы только извращенец. Творчество само по себе не имеет ничего благородного. Как точно — не помню. Я вернулся в Японию, чтобы закончить достаточно муторную работу, и должен был провести небольшое прослушивание. Я просмотрел примерно пятьдесят актрис и танцовщиц, чтобы выбрать из них четырех, из которых была нужна лишь одна. Причем только японка. Она должна была играть в музыкальной комедии, чтобы развлечь малолетних дебилов во время летних каникул. Все другие актеры были уже набраны в Нью-Йорке. Прослушивание я проводил вместе с Пи-Джеем, старым хореографом из Американского Балетного Театра. Режиссер, видите ли, хотел только японку, и ее требовалось откопать среди всех этих маленьких говнушек. Выбирали я и Пи-Джей. Режиссер был японцем с озабоченной рожей, которая напоминала шоколадный батончик, белая, как переваренная лапша или как не прожеванная жареная рыбешка. Общаюсь с ним, я принимал такие презрительные позы, какие мог. Все это происходило еще до кризиса, и по своему социальному положению я был гораздо выше его. Он не мог работать без постоянного одобрения со стороны своего агента. Вы будете смеяться, но в конце концов это! опыт оказался очень поучительным — парня действительно имели в заднице! Я открыто его презирал.

Короче, мы с Пи-Джеем должны были просмотреть всех этих девушек. Пи-Джей был законченный гомик, постоянно веселый, любитель травки; у него всегда было с собой во внутреннем кармане шелковой куртки две-три таблетки экстази или спид, которыми он угождал малолеток, снятых в клубе. Но когда пошла десятая или двадцатая девушка, я почувствовал, что он нервничает все больше и больше по мере того, как девицы продолжали свои танцы. Пи-Джей был парнем без комплексов. Я понял, что пора было задаться вопросом, а с чего, собственно, эти клуши, с их голосами, фигурами, манерой двигаться, вообразили, что могут танцевать? Я попросил Пи-Джая рассказать мне все, что у него накипело. Когда смысл танца начинает сводиться к простому факту появления на публике, а затем — к проследованию к кассовому окошку, танец как таковой исчезает без следа. Казалось бы, очевидная истина, но эти девушки, видимо, этого не понимали. Создавалось впечатление, что мы проводим кастинг девушек, собирающихся танцевать на традиционном празднике Бон! Кастинг должен был продлиться четыре дня. Вначале мы еще пытались оставаться серьезными и подавляли охватывавшее нас отвращение, обмениваясь сальными шуточками. Но на третий день нашей выносливости наступил предел. Пи-Джей заявил, что ему нужна жертва, иначе он не сможет продолжать работу. Я согласился с ним. Почему мы пришли к такому жестокому решению? Но так происходит всегда. И как раз в этот момент, ни раньше ни позже, появилась Санэ Канамори. Небольшого роста, достаточно мускулистая, но с физиономией балерины, старше двадцати лет, родом из провинции Ямагата. Мы были хорошо на взводе, уже готовые поубивать всех этих девиц, и достаточно было любой мелочи, чтобы мы перешли к действиям. Мы были в отчаянии.

Например, когда мы попросили их показать свободный танец, то есть станцевать все, что им было угодно, нам показали тюленя, танцующего «Жизель» с таким претенциозно-вдохновенным видом, с такой деланной важностью, что на лбу складки собирались. Зрелище было подобно тому, как первый парень на деревне забирается на роллер-скейт, чтобы показать настоящий брейк-данс. Некоторые девушки пытались с самым серьезным видом показать несколько движений из ритмичного танца, причем одна из них изображали так называемого древнего идола. Но положение стало и вовсе кошмарным, когда подошла очередь Санэ Канамори. У меня сразу же появилось нехорошее предчувствие. Достаточно было взглянуть в ее резюме, чтобы понять, что этого нам не вынести Она начала заниматься классическим танцем в возрасте восьми лет в Ямагата. Потом быстро переориентировалась, просто и без всякого стеснения, на современный танец. В пятнадцать лет она исполняла собственную программу на празднике, организованном ее лицеем. Это выступление оценили по достоинству, она да же удостоилась похвалы господина как-его-там из Токио. Последствия были соответствующими. В семнадцать она уезжает в Евро тур: Штутгарт, Берлин. Выступления. Почему я вспоминаю все эти мелочи? Потому что это было действительно непростительно. Я остановил ее, как только она начала рассказывать об уличном выступлении в Берлине, в котором она участвовала с местными артистами. Нет, вы только представьте! Вы бывали в Берлине? Великолепный город. Я был там с Кейко и Рейко. Не самое лучшее время. Мы играли в зоопарк в нашем номере в Гранд-отеле, неудивительно, что я очень мало видел город. Но все равно, он великолепен. Я уверен, что там так и подмывает устроить какойнибудь перформанс, тем более что местные власти это позволяют, в то время как это надо запрещать! Господь Бог и берлинский муниципалитет позволяют, но Пи-Джей и я решили, что это должно быть строжайше запрещено! И что же, вы думаете, показала нам эта Канамори? Ее номер назывался «Жизнь». На музыку Шон берга «Просветленная ночь». У нас с Пи-Джеем отвалились челюсти. Так и сидели с открытым ртом. «Жизнь». Рождение и смерть Канамори. Выдающаяся дрянь! Рождение, поступление в школу, игры, юность, обо всем и ни о чем, ни о чем и обо всем, и, наконец, смерть. Я пригласил ее к себе в отель после прослушивания. «Мне надо поговорить с тобой кое о чем, — сказал я ей, — хотя это вовсе не означает, получишь ты роль или нет». «Ах!» — воскликнула она, засияв как медный таз. Я назначил ей встречу в баре отеля в Акасаке, где я обычно останавливался. Очень понтовое заведение. Пианист. Интерьер как в забегаловке. Я хотел начать разговор так: «Объясни-ка мне, только быстро, что ты за эктоплазма?» Но вместо этого спросил, что думает мисс Канамори по поводу Нью-Йорка? Мол, Пи-Джей — очень влиятельный продюсер, и у него есть там собственный проект. Потом объяснил ей, что такой принцессе лучше всего подойдет «Дон Периньон», и от вина она захмелела. Когда она покончила с гусиной печенькой и икрой, я обрадовал ее известием о том, что Пи-Джей выказал к ней немалый интерес. «Мне безразлично, каких высот вы достигли на поприще классического искусства, а вот знаете ли вы элементарные правила шоубизнеса?» — прибавил я. Она затрепетала. «Ты должна трахнуться с Пи-Джеем. У него нет СПИДа, и он пользуется презервативами... Он ждет тебя в номере на двадцать восьмом этаже. Иди и трахнись с ним». Канамори по-настоящему заплакала. Слезы изменили ее лицо до неузнаваемости. «Какой же она может быть страшной!» — подумалось мне тогда. «Я еще никогда не занималась такими вещами», — проговорила она, всхлипывая. «Если шоу-бизнес тебя не привлекает, тогда я не понимаю, чего же ты плачешь и пытаешься меня разжалобить. А также мне совершенно не ясно, зачем тебе продолжать заниматься танцами с такими ограниченными данными». Канамори продолжала рыдать. «Ну, как угодно», — сказал я, поднимаясь. Мой номер располагался на том же двадцать восьмом этаже, и я решил дожидаться ее в компании Пи-Джея. Конечно, она могла и не прийти. Но, похоже, я ее убедил... На этот раз мы с Пи-Джеем обошлись без ширева, но

зато, беседуя, здорово нагрузились коньяком. Наконец к полуночи раздался стук в дверь. На пороге стояла Канамори.

— Наверняка она стояла там, за дверью, упиваясь своим положением жертвы. Конечно, в том случае, если ей были присущи мазохистские наклонности. Однако как была одета эта девица! На ней был какой-то сверкающий черный газ, почти прозрачный, в общем, совсем не то, что раньше. Быстроенько же она смоталась к себе домой, чтобы так принарядиться! И наверно, долго и придирчиво выбирала. С явным намерением драматизировать ситуацию, стараясь при этом оставаться максимально элегантной. Я сказал «положение жертвы», но это не значит, что ее лицо выражало страх. Скорее очень сложную гамму чувств. Что-то ее, конечно, выдавало, нет, не подбородок, не плечи, а чуть заметная дрожь в коленках, трепетание ноздрей. Выглядела она отталкивающе, ужасно. Увидев меня, она почти успокоилась. Я думаю, она воображала увидеть эдакого здоровенного голого американца в одной спортивной куртке, спокойно ее поджидающего. «Ну давай входи», — произнес я. «Супер!» —казалось, говорили ее глаза, когда она чуть осмотрелась. Это был отдельный люкс, как обычно зарезервированным для нас нашими любезными меценатами. Из окон можно было увидеть почти весь двадцать третий район. Три кресла, поставленные буквой «П», кабинетный рояль, телевизор с сорокавосьмидюймовым экраном. Санаэ села в предложенное кресло, продолжая вертеть головой. Кресло было очень удобное. Я не знаток, но, по-моему, итальянского или испанского производства. Несмотря на внешнюю щедрость, у этой Санеа были весьма мускулистые икры, выделявшиеся на фоне обивки. Она сидела решительно сдвинув бедра. Глядя на это, я почему-то подумал о нацистах. Нужно было что-то сделать, чтобы как-то смягчить охватившее ее чувство стыда. Пи-Джей, чтобы унять не дававшее ему покоя нетерпение, начал отбивать большой, граммов в триста, кусок мяса «Мацузыка». Он подмигнул мне, мол, давай придумай что-нибудь веселенькое. То, что я придумал тогда, получилось лишь благодаря моему знакомству с Кейко и Рейко. Мне бесконечно дороги дни, что мы провели вместе. Иногда мне хочется говорить о тех временах как о райских и благословенных, затишье перед бурей, решающем моменте перед революцией. Но я не такой романтический идиот! Вероятно, я просто не способен расслабиться, мне недостает стимула, чтобы найти объект для своего либидо. Да, впрочем, что я знаю об этом! Не важно, речь шла о Санеа Канамори. Хотя все равно удивительно, ведь я вспоминаю об этом до мельчайших подробностей. Вся эта ерунда с ней случилась как раз в то время, когда вышел в свет «Красный Дракон» Томаса Харриса. Вообще мне больше нравится «Молчание ягнят», то есть я хочу сказать, что предпочитаю роман фильму. Это одно из тех произведений, которые выражают полнейшую отрешенность, соединяя элементы триллера и минимализм изложения в форме популярного искусства, что и делает их гиперреальными. Ибо то, что мы называем реализмом, заключается в возвышенном спокойствии отрешенности, порожденном технологиями и психическими аномалиями. Если говорить о том упадке, до которого дошла эта страна, в форме, в которую все это вылилось, достаточно будет сказать, что самый значительный герой, которого породила Америка за последние десять лет, — доктор Ганнибал Лектер. Ни больше ни меньше. Честное слово. Причина того, что мужчины доминируют над женщинами, заключается в том уровне информации, которой они располагают. Как раз об этом и говорится в «Молчании ягнят». Все зависит от этого соотношения сил. Обожаю Ганнибала Лектера! Могущественный? Слабый? Определяющим здесь является не склонность к жестокости, а простой факт: «знаю — не знаю». Иными словами, уровень информированности.

Я говорю об этом, потому что я и Санаэ Канамори были очень похожи на эту парочку — Ганнибала Лектера и Клариссу Старлинг. Я допрашивал ее: «Почему ты занялась танцами? Насколько тебе это нужно?» Пи-Джей насосался жутко дорогого бургонского до такой степени, что не мог связать двух слов. Он сидел с остекленевшими глазами, потягивая с видом ценителя свой коньяк, и криво улыбался. «Мое тело создано для танца. Это трудно выразить словами», — отвечала Санаэ. Я налил ей стакан, а затем перевел Пи-Джею наш разговор Небольшой такой получился рассказик. Я посоветовал Санаэ добавить в коньяк лед. Так она сможет выпить больше, рассуждал я, и скорее напьется. А во время этих словесных игр, предшествующих играм другого рода, имеет смысл хорошенъко напиться. Конечно, лучше всего для такой цели подошли бы наркотики, но эту дурочку следовало поберечь, чтобы избежать самого худшего. Она могла съехать с катушек или обратиться в полицию, а то и покончить с собой. «Ты действительно веришь, что тебе предназначено стать танцовщицей?» — продолжал я ее пытать. «Я не знаю наверное... Но если бы у меня не получалось, я бы не танцевала до сих пор». Как она оценивала свои достижения? «Я прекрасно знаю что они пока очень слабые». Слабые? «В каком смысле? По каким критериям ты судишь?» Выяснилось, что она просмотрела много спектаклей во время пребывания за границей и по ним оценивала свои успехи. Больше всего она прониклась постановками Пины Бауш и Маги Марэн. «Я не могу представить себе, чтобы японец был способен проникнуться современным европейским танцем. Это заблуждение». Я ей объяснил почему. «Например, ты утверждаешь, что тебе нравится современная музыка, ну, скажем, Джон Кейдж. Но при этом у тебя нет ни слуха, ни образования, ты не знаешь даже нот. Классический танец для тебя — непреодолимое препятствие. Японцам нечего противопоставить этому, абсолютно нечего, даже какойнибудь народный танец. Такие вот дела. От этого не уйдешь. Ты танцуешь настолько плохо, что потребовалась бы бесконечно малая величина, чтобы описать это ничтожество. И ни куда не денешься, это внутри тебя, в твоем теле, до мозга костей Я знаю, очень тяжело говорить себе, что ты дермо, но это единственное средство, чтобы вовремя одуматься. Соображаешь?» Ее реакция меня слегка удивила — она согласилась. Заплакала, но тихонько. Кажется, она поняла, какая была дура, когда стояла перед нашей дверью, решившись трахаться с кем угодно. Я видел, как она была потрясена прямолинейностью моего объяснения, сурового, но все же достаточно дружеского. На них нужно как следует наорать, чтобы они вытащили голову из задницы и принялись думать. Рейко была такой же. Они принимают строгость за проявление чувств, потому что начисто лишены таланта. Ровным счетом ничего, во что они верили, к чему стремились, не доставляло им ни малейшего удовольствия. Наверно, все эти девушки очень несчастны. Ну не существует для них никаких удовольствий, а есть только возможность превзойти самих себя! Ничего с ними не поделаешь. Я стал задавать ей вопросы более личного характера: «Ты никогда не пыталась обратиться в продюсерскую компанию?» — «При моем росте у меня нет ни одного шанса попасть в труппу. К тому же я терпеть не могу агентов. Я никогда не хотела стать звездой. И еще не нашла коллектив, в котором могла бы получить возможность совершенствоваться. Я же не принадлежу ни к какой школе». — «Есть ли у тебя кто-нибудь, кто тебя понимает?» — «Если вы имеете в виду близкого друга, то да, есть. Вернее, был... Нам пришлось расстаться».

Еще внизу, в баре, Санаэ не терпелось спросить меня, повлияет ли наша встреча на результат кастинга, поскольку она явно не понимала, почему в противном случае она должна терпеть такое обращение. Я прекрасно это видел. Наконец она решилась, кое-как ответив на мои расспросы о ее бывшем приятеле. Я заметил, что ей становится все хуже и хуже Ее лицо побледнело и стало совсем некрасивым. Вдруг она спросила: «А я буду танцевать в вашей комедии?» Ее голос был такой грустный, как голос какого-то древнего божества из предания, и он делал ее еще более уродливой. Потом она добавила, что ей, мол, все равно, покажется ли мне

ее вопрос невежливым или нет. От этого у нее, наверное, задрожали колени и пересохло в горле. Она залпом выпила свой коньяк и мгновенно налилась пурпуром. Ну совершенно как деревенские девчонки на старых фотографиях! Странно было смотреть на ее поникшую фигуру, будившую во мне неуемное желание изнасиловать ее. «Я не вижу причины называть вам результат прямо сейчас, — произнес я холодно, — ты можешь предполагать все, что тебе угодно, твое дело. Результат будет объявлен для всех в последний день. Меня совершенно не волнует, о чем ты можешь размышлять. Хочешь, думай, что мы желаем лишь доставить себе удовольствие, оттрахав тебя. В любом случае мы так или иначе выберем актрису. Количество просмотров ограничено, а дублеры нам не нужны. Претендентка должна доказать, что она способна полностью сконцентрироваться, иначе не стоит и стараться. Уровень прослушивания еще более низкий, чем предусматривалось. Беседуя тут с тобой, мы хотим только удостовериться в силе твоей мотивации, в том, насколько ты готова посвятить свои тело и душу предложенной работе. Если ты уверена в себе — что ж, можешь уйти прямо сейчас. Понимаешь, о чем я?» «Да, понимаю», проговорила она, уронив голову. Я уже не помню ни ее лица, ни ее тела, но зато очень отчетливо помню тот момент и ее жест. Я молчал, как вдруг она заговорила сама, и очень серьезно. То, о чем она рассказала, позже случилось и у меня с Рейко. «Можно я расскажу вам о моем друге, с которым рассталась? Вы первый, с кем я говорю об этом. Между нами не было ничего такого. Я не собираюсь формировать у вас какое-то особенное мнение обо мне. Просто я считаю, вы способны понять эту штуку, что живет во мне... Я хотела бы рассказать об этом вам первому

Ему всего двадцать пять, но есть у него один недостаток. Он ни когда не работал, то есть я хочу сказать, у него никогда не было постоянной работы. Когда мы познакомились, он подрабатывал в аптеке. Как-то ночью я зашла туда купить кое-что, мы перебросились парой слов, потом я дождалась, пока закончится его смена, и мы пошли с ним поболтать в ночное кафе. Его воспитывали дед и бабушка. В течение двух часов он рассказывал мне о пережитых им обидах, даже от собственных родителей (я тоже ненавижу собственного отца). С той самой ночи, вернее с утра того дня, мы были вместе. Я поняла, что нужна ему. Во мне все таяло, когда я обнимала его тело, плечи, грудь. Я не могла от него оторваться. Когда он был рядом, я испытывала такую теплоту к нему, такое блаженство, которого не ощущала еще никогда. Как и любая женщина, каким-то материнским чутьем я угадывала, что и он испытывает ко мне те же чувства и понимает, что я не могу без него. Где он жил до этого, я не знала. У меня же была маленькая квартирка из двух комнат и шесть и четыре татами соответственно, куда он и переехал.

Он писал стихи и сценарии для пантомим, но никогда не пытался продать их или продаться сам, как это делаю я, ходя на прослушивания. Он довольствовался тем, что показывал свои произведения лишь узкому кругу друзей, тоже, как и он, перебивавшихся с хлеба на воду. Меня впечатляла его серьезность, и, в конце концов, мне стало ясно, что у него нет ничего общего с его ровесниками. Теперь-то я понимаю, что у него просто не хватало смелости, чтобы противостоять внешнему миру. С первого дня нашего знакомства я боялась его чем-то задеть, ранить. Никогда еще не встречала такого страдающего человека, причем страдающего по-настоящему, без притворства, ни среди своих, ни среди чужих знакомых.

Его родители были в разводе. Сначала он жил у своей матери, но она нашла себе нового мужа. Тогда он переселился к деду с бабкой. Он учился еще в начальной школе и был вынужден совершать длинные переезды, чтобы повидаться с отцом или с матерью. Переезды на электричке. Он говорил, что стал специалистом по части езды зайцем. Потом его отдали в специальную школу, где его били. После третьего такого случая дед с бабушкой его забрали, и он стал вымешивать накопившееся зло на них. Както он мне признался, что был готов их убить

сотни раз. Тем не менее, они относились к нему с большой любовью и сильно переживали за его судьбу. Я не знаю, как это можно объяснить, но он был наиболее жесток как раз с теми, кто проявлял к нему наибольшее внимание. Мне это прекрасно известно: мой отец время от времени поколачивал маму, а потом и меня. Мой друг был слишком слаб для того, чтобы просто освободиться от всех нанесенных ему обид. «Только в невинности есть истина». Глупая поговорка. Но он объяснил мне, что, по сути, на этом принципе основаны все художественные формы и средства выражения, которые только известны в Японии. Для меня это явилось открытием, за которое я до сих пор ему признательна.

Мы прожили вместе чуть больше двух с половиной лет. Мы ни разу не путешествовали вдвоем, я не припомню, чтобы мы ели что-нибудь особо вкусненькое. Но мы были счастливы. Ни кто друг другу ничего не запрещал. Когда я уехала за границу, он не работал; он сидел один в комнате, как улитка в раковине. Он был очень мрачным юношей. На полном серьезе он говорил, что мог бы ждать меня вот так неделями, если бы это потребовалось. Пока меня не было, он носил мои вещи — шарфы, бусы, ну и тому подобное. А я была счастлива, что он говорит мне об этом. Денег у нас было почти всегда в обрез, мы даже не могли позволить себе сходить в ресторан. Я покупала самый дешевый рис, которым добавляла во все блюда. Есть мы старались один раз в день. Но да же об этой особенности нашей совместной жизни я не сожалею. Я не смогла бы насмехаться сейчас, потому что тогда это было чем-то обязательным для меня. Я поняла, что то, для чего нет ни какой необходимости, никогда не случается. Однако именно я первая заговорила о разрыве. Дело не в боязни того, что мы могли уничтожить один другого, и не в лишениях, которые меня до стали. Я не знаю, как это объяснить, как я вообще могу объяснить такое? Я чувствовала, что где-то что-то не так, и это ощущение все возрастало. Уйдя от него, я даже упрекнула себя за эгоизм. Он же никогда, никогда не упрекал меня в чем бы то ни было. «Сана, я понимаю тебя», — твердил он. Ах да. У него была привычка называть меня «Сана», и мне это очень нравилось. Мне нравилось, что мое имя приобрело иное звучание. До него никто так меня не называл. «Сана, по твоим словам, у нас с тобой были чудесные мгновения», — сказал он мне в последнюю ночь. Услышав это, я впервые поняла, что любила его, что могла любить мужчину, его слова, всё, всё, чем он был. Я разревелась и проплакала всю ночь. Слезы были средством оправдать себя в своих же глазах. Я понимала, что факт моего ухода от человека, которого я любила, был таким же проявлением слабости. Это было странное ощущение глубочайшей тоски и одновременно облегчения. Я вдруг поняла, что свободна. Сказать по правде, вот уже десять дней, как я его бросила. И все это время он постоянно мне звонит, и даже сегодня вечером я разговаривала с ним, когда возвращалась домой пере одеться. Я честно ему призналась, рассказала все, что вы мне сказали. «Наверное, ты должна это сделать, Сана, — ответил он, — эти необходимо, если ты хочешь заполучить эту роль». Я решила согласиться. Но хочу, чтобы вы поняли правильно: я не собираюсь специально ввязываться в эту вашу мазохистскую историю. Я знаю только одно: мне нельзя отказываться. Понимаете, что я творю? Мне нечего терять. Я должна работать. Я должна посвятить себя своей работе, а она не ограничивается вашей музыкальной комедией. Эту вещь не вы мне внущили — не очень-то и хотелось! Я должна сделать это. Это я решила для себя и готова на все. Скажите, что я должна сделать. Скажите, что вы хотите, и я сделаю все, что вы пожелаете. Скажите». Я едва раскрыл рот, как Пи-Джей, следивший за нашим разговором, который я передавал ему по-английски, объявил: «Тогда ступай прими душ. И не забудь хорошенко подмыть очко».

— Я перевел Санэ его слова. Вы бы видели, как она побледнела! Я употребил более мягкий термин, нежели «очко», но это на самом деле должно было ранить ее еще сильнее. Подбирая выражение, я просчитал этот эффект. Да, я заменил «очко» на «анус». На это стоило посмотреть. Часто можно слышать, как говорят: «он побледнел». А вы когда-нибудь замечали, как человек бледнеет у вас на глазах? Идиоты писатели видят в этом явлении зарождение преступных намерений, что-то карамазовское, тогда как все гораздо проще. Скорее всего это обусловливается повышенным кровоснабжением мозга, спровоцированным ненормальным выделением определенных гормонов. Думаю, такого объяснения было бы достаточно. У человека это означает, как правило, что он находится на грани отключения, причем я уверен, что и отключается он именно из-за этого самого повышенного кровоснабжения. Когда что-то внезапно, как вспышка, озаряет ваш мозг, ваше преступное намерение обретает форму спонтанного, неудержимого движения. Это крайне трудно признать, тем более что, как только прозвучит такой предупредительный сигнал, вы становитесь кем-то из двух: либо садистом, либо мазохистом. Поймите меня правильно. Есть люди, способные и ударить первыми, и ткнуть вам в бок перо в момент раздражения и при этом являющиеся мазохистами. Поведение садиста же будет направлено прежде всего на сохранение спокойствия, на смягчение шока, то есть в любом случае на то, чтобы снизить волнение, вызванное приливом крови. Возможно, самым эффективным средством принять абсолютно неприемлемое как для себя, так и для других является смех. Многие полагают, что это его единственное предназначение. Но Санэ Канамори повела себя совершенно иначе. Она оказалась не из тех, кто стал бы совать нож или первым наносить удар. Зрелище было иного рода: она покраснела, опустила глаза и закусила губу. Честное слово, блестящий спектакль! Вид — словно она пыталась убедить себя в том, что должна пройти бог весть какое испытание, лицо отсутствующее взгляд безумный, ощущение, будто изнутри ее пожирает дикая злоба, будто унижение — самая почетная на свете вещь. Слезы на глазах! Существует огромное количество способов того, как себя вести с подобными людьми. Самый разумный — тот, который я и избрал тогда, благо был уже достаточно возбужден — продолжать давить, давить агрессивно, не давая ей времени прийти в себя. Эта техника часто полностью себя оправдывает, и в этом случае я, продолжая нападать на нее, вдруг понял, что ненависть и злоба, которую она испытывала по отношению ко мне, только возрастают. Злая девка. Я понимал, что такую штуку она мне не простит никогда. Наступит день, когда она найдет возможность отомстить за себя. Вот что читалось сквозь слезы в ее взгляде. Вот в чем она клялась себе. Все это только увеличивало ее злобу и одновременно делало ее еще более управляемой. Слезы еще катились по ее щекам, подбородку, капали на ее вздрагивающие плечи, но лицо уже приобретало свой нормальный цвет. «Кончай прикальваться, идиотка! — заорал я. — Заткнись! Можешь особо и не стараться. Тебе что, весело от того, что ты должна вытерпеть?» Она сидела словно пригвожденная к месту, безвольная, способная лишь ощущать биение собственного сердца. В любом другом случае, будь на нашем месте, например, мелкая шпана из якудзы или копы, ситуация немедленно вышла бы из-под контроля. Сто процентов получить по рылу. Если во время деловых переговоров вам удастся довести вашего собеседника до такого состояния, когда лицо бледнеет, а плечи начинают подрагивать, причем неважно, чья брала до этого момента, считайте, что сделка у вас в кармане! А мне нравятся такие глаза. Такие, как у Де Ниро. Только у Скорсезе можно увидеть такую актерскую работу... Де Ниро... На его лице не шелохнется ни один мускул, он выдает свое состояние лишь движением глаз. А Харрисон Форд добивается того же, играя желваками на скулах. Но тогда передо мной сидели не Де Ниро и Харрисон Форд — передо мной сидела обычная девчонка по имени Санэ Канамори. Я не был вооружен, речь не шла о бизнесе, а помимо того я сам был ничем! Среди моих приятелей, с которыми я иногда шатался по Токио, были двое-трое,

интересовавшихся исключительно девушками, сидящими по горло в долгах. Они могли пользоваться ими двадцать четыре часа в сутки, отдельваясь лишь обещаниями оплатить их долги. Я говорю о долгах, которые исчислялись сотнями миллионов иен. Игрушка, не доступная простым любителям! Во времена кризиса суммы в пять-десять миллионов нашлись на улице. А эти мальчики регулярно, раз в месяц, ходили развлекаться! Разок и мне удалось поучаствовать. Вообще девушки с долгом в десять миллионов — все шлюхи, настолько готовые на все, на любые унижения, что в конце концов становится неинтересно. Да их просто пруд пруд! Садомазохизм настолько распространен в Японии — доказательство тому вы можете увидеть в любом мультике для подростков, — что любая из этих девиц будет готова стерпеть от вас все что угодно. «Если я могу вынести все это, зачем мне тогда терпеть якудза, который требует от меня выплаты долга?» Вот как они все рассуждают и к чему стремятся. Вы никогда не дождитесь от них такого взгляда, о котором я вам говорил. А я люблю до безумия такие глаза. Глаза, исполненные бессильной злобы, жажды убийства. Н-да...

Стало быть, самое важное — не давать девице времени прийти в себя. Фиксировать взгляд. Не оставлять для нее ни малейшей лазейки. А в случае с Санэ Канамори нужно было еще и постоянно подогревать наполнявшую ее злобу. Я продолжал еще и потому, что Пи-Джей вскоре свалил, сказав, что ему совсем хреново. «Я останусь здесь. Уверяю тебя, с тобой ничего не случится, никаких ранений и травм в медицинском смысле». Она величественно кивает в знак согласия, как героиня из старого фильма, вот она во всей своей красе, словно мать, идущая на жертву. Действительно полнейшая идиотка!» В любом случае тебе лучше принять душ», — прибавил я и указал ей на дверь ванной. Ванные в этом отеле были не то что в «Плазе». С видом на город. Позолота. И на пор воды посильнее. Прекрасно! Я подвел ее к самой двери. Ох!! Она была на седьмом небе от счастья. В тот момент мне вспомнилась хозяйка агентства «Эскорт-гёрлз» в Лос-Анджелесе, которая утверждала, что люкс любят абсолютно все и что только ради этого девушки готовы продавать себя. «Честное слово, она права», подумал я. Ничего не поделаешь, это действительно так. Санэ подошла ближе и обняла меня, одновременно расстегивая первую пуговицу на своей блузке. У нее оказались мясистые губы. Это мне напомнило слова Ганнибала Лектера... Что он там говорил у Томаса Харриса? «Я понимаю это желание каннибала...» — что-то в таком духе... Минутку... ага!» Гораздо приятнее было бы впиться в эти губы зубами, чем их целовать». Скажу вам, я был удивлен. Она не прекращала обнимать меня все время, пока раздевалась. Она сняла блузку, сбросила юбку, спустила чулки, отбросила их и все это, не разжимая своих объятий. В какой-то момент, уже го лая, она так вцепилась в меня, что я увидел ее лицо, все в слюнях, и тогда я оттолкнул ее и перевернулся к себе задом. Сучка!» Она мокрая», — подумал я, шаря рукой по ее заднице в поисках дырки. Как эта баба может столько напустить? — ну вот, пожалуйста! Короче, отправил я ее в душ, а сам вернулся в гостиную. Пи-Джей, пошатываясь, стоял в дверях, грозя упасть. У меня возникло дурное предчувствие. Пока Пи-Джей оставался в комнате, все это было простой игрой, но теперь, останься мы с Санэ с глазу на глаз, эта игра могла окончиться сплошной скучкой. Хотя как сказать? С неизбежностью я вновь подумал о Рейко...

Я полагал, что Канамори выйдет из ванной сконфуженной. Но когда она показалась в дверях с обвязанным вокруг тела полотенцем, покрытая капельками воды, я отчетливо услышал: «Ну, тварь, что ты собираешься теперь делать?» У меня зазвенело в ушах. Мне показалось, что она возникла ниоткуда, а ее голос походил на сирену выходящего из порта сухогруза. «А... куда ушел этот?» — спросила Санэ, выпивая стакан коньяку «Гран Шампань». Полотенце чуть соскользнуло и явило миру арбузное великолепие ее грудей. Мне стало плохо по-настоящему. Я пытался себя уверить, что Пи-Джей обязательно вернется. Вдобавок я почувствовал, что света в комнате как-то незаметно поубавилось. У меня со светом особенная связь. Почти такая же, как

между тревогой и сердечным ритмом. При тревожном состоянии сердечный ритм учащается, но и тревога возрастает пропорционально частоте ударов сердца. Когда я был маленьким, достаточно было слегка убавить свет в моей комнате, как мне внезапно делалось плохо и меня сразу охватывало чувство тоски и одиночества. Я считаю, что свет непосредственно влияет на сознание. Неопределенного мы не замечаем — я хочу сказать, что ваша рана начинает вас мучить, как только становится чувствительной. Только Рейко смогла излечить меня от этого. «Я немного не такой», — выдавил я. Она поморщилась и ответила: «Я знаю». Я сорвал с нее полотенце, и она осталась обнаженной. У Рейко было совершенное тело, тело весталки, и я сейчас же ощутил внутренний протест. Протестовали не глаза и не член — протестовали мои внутренности, желудок, печень. «Ты действительно хочешь это сделать? — говорил мне их голос. — Ты что, так давно не трахался, что тебе неймется?» Нет, я прекрасно понимал, что тело Рейко не было таким совершенным. Я это понимал... рассудком. Я считал его прекрасным по одной причине: мне никогда больше им не обладать. Я это отлично сознавал. Я также понимал, что вот-вот растворюсь в нем, пропаду в аромате выделений этого тела, я сгорал от желания целовать его... «Ты хочешь...» «Да», — ответила она, глядя на меня. Я снова услышал голос Рейко. Передо мной была совсем другая женщина, а я все слышал голос Рейко. «Стань на пол, на четвереньки, и подними зад! Подними ягодицы как можно выше, думай про себя «я хочу, хочу» и обмочись». Санаэ повиновалась. «Смотри-ка, — сказал я сам себе, — неплохо, а? Это ее задница, не так ли? Задница бездарной танцовщицы, но все-таки задница. Она круглее, чем у Рейко, и белее ее. Уверен, что нашлось бы немало мужиков, кто предпочел бы эту жопу заднице Рейко». Но все это банальность. Было ясно, что это не Рейко. Не было той упругости мышц, того напряжения этих двух шаров, так отчаянно ерзавших у меня под руками, что я едва не сходил с ума, старавшихся заставить меня кончить. Хватит! Это все равно не Рейко. Скажи этой бабе, пусть убирается. Ложись спать и усни мирным сном. Выпей бутылочку коньяку, и все будет хорошо. Когда я просил Рейко встать в такую же позу, я закидывался кокаином и смотрел европейское порно — лесбийские игры. Рейко часто надевала маску на лицо. Я посыпал кокаином слизистые у ее заднепроходного отверстия и наслаждался, глядя, как мило вертится эта попка. Мне случалось также приглашать еще девушку и насиливать ее. Мне нравились их умоляющие голоса, хотя некоторые не такие гордые, отказывались это делать. Но Рейко обожала, когда я терзал ее... Потому что это был я. А потом она стала говорить мне, что собирается замуж. И не за парня, готового биться за женщину, нет, за одного из тех типов, которых навалом в Синдзуку или в Сибуяя. Плюньте в толпу, и пусть это будет тот, в кого первого попадет ваш плевок. Выйти замуж за обычную дохлятину. Вот о чем она говорила, а еще о том, что с ним она никогда не занималась такими вещами, какими занималась со мной. Она говорила так, чтобы меня успокоить. С тем же успехом она могла сказать: «Поерзай-ка по полу на карачках с намазанной кокаином задницей. Мерзко, да? Невыносимо, да?» Вроде бы этот парень работал в китайском ресторане в Аояма. В конце концов, я до сих пор не знаю, что там о нем говорили. Я его никогда не видел. Мне только рассказывали про него. Наверняка какой-нибудь распространитель листовок у вокзала Кисидзёдзи. Я прямо вижу его там! Продавец пластинок в Роппонги! Клоун, продающий свои серьги в Сибуяя! Короче, неважно. Клал я на него, пусть будет кем угодно. А ведь еще находились люди, которые мне говорили, что, мол, я должен радоваться, что этот парень не оказался известным продюсером, как я сам. Я плевал на них! Мне вообще все похрену. Молодой человек, с которым она не занималась такими вещами, какими занималась со мной! Это сводило меня с ума, тем более что не существовало каких-либо причин не заниматься с ним тем же, чем и со мной. В какой-то момент я старался привыкнуть к этой мысли, но куда там! Я едва не рехнулся от ревности. Я не мог не представлять себе этого юношу, напрягшегося, «с членом» — я не могу употребить

другого слова, так как речь идет именно об этом, — с членом, как у кобеля во время случки, глубоко входящим в сощающуюся задницу Рейко. Конечно, он должен хорошенько смазать свой прибор перед соитием, как когда-то делал я. Такие картины периодически накатывали на меня, словно волны на морской берег. Чего ж я должен был еще ожидать, когда просил других девиц встать в такие же позы? «Кажется, меня поимели», — думал я тогда. Никогда до этого я не ощущал такой горечи. Это не было связано с Рейко. Проблемой был я сам. Я сам был своей слабостью. Но в тот момент не имел права раскисать. Санэ Канамори должна была получить то, что получала Рейко. Мне нужно было порвать ей задницу, заставить ее истекать слюной, ползать по полу, извиваясь, как склизкая гусеница, я должен был снова увидеть Рейко. Помоги мне, сделай мне что-нибудь, умоляй, дрыгай ногами... Но я не мог раздеться, мне было страшно. Я не мог засунуть пальцы в ее зад, а потом заставить ее обсасывать их. И не потому, что я решил не испытывать больше того наслаждения, что испытывал с Рейко. С Санэ я боялся другого. А именно: вытачив свои пальцы из ее задницы, сунуть их в рот слишком уродливой девушки. Наверно, я боялся почувствовать себя жалким. Сейчас это может показаться совершенно невозможным, но тогда я был слабым, как ребенок, как старикашка. Все раны — внешние. Часто говорят о внутренних, скрытых ранах — от задетого самолюбия, от этой тошноты, — так они такие же болезненные, как и физическиеувечья. Итак, я должен был это сделать. Нельзя сожалеть о себе. Надо было выиграть время и неспеша отыметь эту сучку во все дыхательные и пихательные. А если начнешь жалеть себя, то дело кончится тем, что лишь попусту распихуешься. Я хотел заставить ее отсосать у меня, крепко ухватив за голову, а потом как следует оттрахать спереди и сзади. Я хотел обладать ею, смотреть, как она захлебывается от презрения ко мне, обхватить ее ягодицы руками прежде, чем войти в нее. Именно так я и думал, именно это мне и надо было сделать! Я до сих пор спрашиваю себя, почему я этого не сделал? Это единственное, о чем я сожалею, больше мне сожалеть не о чем. Я частенько держал Рейко в такой же позе по два-три часа, прежде чем она могла встать, и кожа на ее коленях обиралась, иногда даже до крови. Но тем не менее она всегда выполняла все мои требования, чтобы доставить мне удовольствие. Это ей нравилось. Шутки ради она называла себя моей рабыней. «Нет, зачем же, — говорил я, посыпая ее зад кокаином, — ты моя подруга, нам надо сделать очень важную вещь». Она возражала: «Нет-нет, я еще и ваша рабыня!» Я обожал ее за эти слова. Мы с ней были как два сообщника, собирающихся на дело. Я должен был трахнуть в задницу Санэ Ка намори... Знаете, почему я не смог? Под рукой не оказалось наркоты — невозможно заниматься скотологическими играми в таком состоянии. Короче, мне нужно было трахнуть ее, ну хотя бы чтобы скрасить скуку перед сном. На этот раз она обмочилась очень обильно. Когда я почувствовал, что ей уже достаточно прикосновения пальца, чтобы дойти до экстаза, я ее отпустил. Потом я набросил на нее купальный халат и сжал в объятиях: «Браво! Ты хорошо себя вела». Канамори вцепилась в меня изо всех сил: «А-а-а, а-а-а!» Она стонала так же, как в свое время это делала Скарлет О'Хара, таким же голосом. Она дрожала всем своим существом, упираясь голыми ногами в носки моих ботинок. «Пре красно! Достаточно. Хватит... Я пока не знаю, достанется ли тебе эта роль, но думаю, что ты поняла, чтобы стать настоящим профи, нужно быть честным по отношению к самому себе и не бояться испачкаться». Нет, вы представьте, до чего я дошел, чтобы сказать ей такую вещь! Глядя на то, как она рыдает, на ее некрасивое лицо, к тому же опухшее от слез, я решил стать бомжом...

— Я не хотел становиться бомжом в Нью-Йорке, словно какой-нибудь деревенский

мальчишка. Нет, только не это. У меня просто не было больше сил. Надеюсь, вы понимаете, что Санаэ Канамори здесь абсолютно ни при чем. Для этого были причины поважнее. История с этой девицей вообще не имеет к этому никакого отношения. А говоря откровенно, дело не в причинах. Тем более я до сих пор утверждаю, что никогда сознательно не собирался становиться бродягой, да и не был им по-настоящему. Бомж или там кто другой — мне было без разницы. Но я хочу казать, что даже если это произошло случайно — это решение, это столь романтическое деяние все равно совершенно неинтересно. Вы можете счесть меня придурком, но, уверяю вас, этот эксперимент оказался полнейшей ерундой. А что до того, что я не отымел в заднице Санаэ Канамори да при этом еще и отпустил ее домой обнадеженной, так это потому, что я чувствовал себя раздавленным. Я был беспомощен, слаб до самой крайней степени. Рейко просто убила меня своим решением выйти замуж за того неизвестного. И не считайте мое состояние за доказательство любви. Ею там и не пахло. Скорее это было похоже на реакцию ребенка, у которого сломалась любимая игрушка. «Я люблю тебя» — это всего-навсего слова, слова, выраждающие представление девятнадцатого века, которое принято считать неудачным, если не сводить его к полной абстракции, как сделали бы японцы. Некоторые считают, что такое понятие вообще лишено какого-либо значения. Потому что абстрактное понятие может быть осмыслено, если только оно одновременно выражает некоторый аспект объективной действительности. Решать вопрос о том, любил ли я Рейко и Кейко или же не любил, мне не интересно, так как он маловажен. Могу только заметить, что очень давно не испытывал такой испепеляющей страсти, как ревность. Когда Рейко объявила о своем намерении выйти замуж, я не отпустил вожжи. Я понимал, что бы ни произошло она больше никогда не будет моей. И очень боялся, как бы у нее не появился другой продюсер или какой-нибудь непонятный режиссер, более или менее профессиональный и темпераментный, которому могло бы взбрести в голову заставить ее играть. Я ни когда не испытывал ни малейшего отвращения от мысли, что она делала все, что хотела, с этим мальчишкой. Боялся только того, что вот появится какой-нибудь деятель с необузданной энергией и начнет совать нос в это дело. Поэтому связался с одним немецким постановщиком, которого знал достаточно хорошо, так как он делал киноверсию моей комедии. Он жил в Берлине. Я позвонил ему и спросил, не нужна ли ему азиатская актриса. Сейчас нет, ответил он, но вот где-то через полгода у него будет проект... Такие вот дела. Короче, я отправил Рейко в Берлин, а чтобы не говорили, что хочу разлучить ее с любовником я оплатил и его перелет, а также снял в Берлине для них квартиру. Когда я встретился с ней, чтобы сообщить новости, она заявила: «Учитель (так она ко мне обращалась), я не знаю, так ли люблю этого парня. Он серьезно травмирован, но, разумеется, и люблю его не из-за этого. Мне известно, что многие, общаясь со мной, облегчали свои страдания. Я также знаю, что это дает мне ощущение полноты и удовлетворения. До недавнего времени я считала, что он похож на моего отца, однако теперь поняла, что все-таки он напоминает мне мать. Учитель, я действительно хочу продолжать работать с вами, как и прежде, но только как актриса второго плана. Не хочу в Германию. А если бы и хотела, то поехала бы одна, без него». Так и сказала! Но в конце концов она все же улетела в Берлин вместе со своим кавалером. Она пригласила меня в аэропорт проводить их. Я не поехал. Вот и все, что касается Рейко.

В то время мне снились жуткие сны. Например, я иду с Рейко по холлу какого-то огромного аэропорта, мы регистрируем багаж, потом шагаем рука об руку по коридору, что ведет в салон первого класса. Наверно, мы ожидаем рейс в Японию. Мы оба сильно устали. Рейко проходит вперед, в салон, опустив голову. Она кажется очень грустной. Ее лицо серьезно, она не произносит ни слова. Я заказываю напитки и предлагаю ей сласти, по-моему, печенье. Она так ни к чему и не притрагивается. Я понимаю, что должен ей что-то сказать, но в голову ничего не приходит. Рейко продолжает сидеть, не поднимая головы. Она кусает губы — значит, о чем-то

глубоко задумалась. Она умеет сосредоточиться. Если будет нужно, она просидит не шевелясь и десять, и двадцать минут, и больше. Никто не может сконцентрироваться лучше.

Я говорю себе, что нужно что-то придумать, что-то сделать для нее. Я не могу удержаться от подобных мыслей. Когда у нее такое лицо, мне хочется помочь ей чемнибудь. Знаете, терпеть не могу всех этих старых послевоенных кумиров, да и довоенных тоже, вплоть до времен реставрации Мейдзи. Считалось, что способность демонстрировать такое сильное взволнованное сосредоточение есть необходимое условие для того, чтобы прослыть великой актрисой. Конечно, сейчас так никто не думает. Такая штука может достать кого угодно. Способности к концентрации, какие показывает Рейко, теперь вряд ли кого-нибудь могут прельстить. Кроме меня, естественно. Между нами уже нет былого взаимопонимания, и ее тревога вполне понятна. Но все равно, когда я вижу ее в таком состоянии, мне хочется ей чем-то помочь.

Короче, я наконец решаю заговорить с ней и начинаю думать, что бы такого сказать. Она терпеть не может сентиментальностей. Я зову ее: «Рейко!» — и жду, пока она повернется ко мне. «Да?» — отвечает она, поднимая голову. Ах, как она красива! Теперь, когда вновь думаю об этом, я могу себе признаться, что был действительно извращен. Сейчас я способен это понять, хотя и не перестаю спрашивать себя, отчего это произошло. Ведь у меня было относительно спокойное и счастливое детство. Все же трудно понять почему, если только таким качеством не обладает каждый человек. За исключением тех шалав, от которых вам захочется умереть, едва вы останетесь с ними наедине, я всегда старался хорошо относиться к женщинам, которые, как и Рейко, не пытаются нравиться и обольщать. Именно по этой причине я избегаю женщин, весь смысл существования которых сводится к обольщению, как, например, у многих моих знакомых актрис и певиц. Не вижу ни малейшего повода восхищаться девушки, поставившей себе подобную цель. Актрисы, поскольку живут и работают для обольщения, одни из тех, кому в частной жизни требуется соответствующая поддержка, на которую они могли бы рассчитывать. Я знал многих актрис, которые, жеманничая перед публикой на все лады, возвращались с работы и гонялись с мясным ножом за своими приятелями или же бросались на других девушек с намерением перерезать им глотки. Вот уж действительно Божья кара, когда обольщение становится профессией! Я не смог бы общаться с такими. Они мало меня интересуют, тем более что мир изобилует красивыми женщинами и девушками, которые гораздо милее большинства этих актерок и девиц, у которых только одно огорчение: что у них нет желания вам нравиться. Среди телевизионщиков и продюсеров я знаю сотни мужчин, которые посчитали бы за честь пообщаться с актрисами. И эти сотни, даже тысячи мужчин мечтают лишь о том, как бы лечь на такую, раздвинуть ей ноги пошире и оттрахать ее. Я хочу сказать, что все это имеет отношение к данному вопросу, поскольку если бы речь шла только о получении простого удовольствия, то не нужно было бы сосредотачивать свое внимание лишь на таких девушках. Рейко была и актрисой, и танцовщицей, правда, не очень талантливой, но зато начисто лишенной желания кому-то нравиться. Бедная девочка! Должно быть, она долго не могла решиться уйти, уверенная в том, что никогда больше не будет работать с продюсером, который занимался бы ею так же, как и я. Именно так, я думаю.

Судя по обстановке, мы должны были находиться в каком-нибудь провинциальном аэропорту — в Атланте, Майами или Чикаго — в секторе международных перелетов. Утомленные сексом и наркотиками, мы, бывало, развлекались в ожидании вылета: «Послушайка, стучит ли сердце? А ты не думаешь, что мы можем погибнуть при перелете?» Но на этот раз все иначе, у нас билеты на «конкорд». Мне очень нравится его салон. Быстрый перелет, питание превосходное. Я говорю Рейко, что путешествия, даже самые длинные, неизбежно подходят к концу. А она... она пытается заставить себя улыбнуться, но улыбка застывает у нее на губах. Я

вижу, что ей сейчас не до этого, что она напряжена, напряжен каждый мускул ее лица, она едва справляется с эмоциями... Она в панике. Она начинает дрожать. Рейко часто впадала в такое состояние, а само его начало всегда было весьма эффектным. В свое время ей удавалось быстро овладеть собой, она демонстрировала колоссальную волю, но потом эта воля куда-то ушла. Она тряслась так, как будто сидит голой на льду, у нее не попадает зуб на зуб, дрожь сотрясает ее всю. И при этом она пытается наложить макияж. Я говорю себе, что должен принести ее в чувство. Но понимаю, что в таком паническом состоянии ей лучше всего заняться каким-нибудь привычным делом и попытаться сделать несколько глубоких вздохов. Нужно попробовать вернуть утраченное спокойствие и взять себя в руки. Но она не способна ни на то, ни на другое. Рейко никогда не отличалась стойкостью или смелостью. Достаточно было сущего пустяка, чтобы потерять присутствие духа и взвинтить себе нервы. И тогда она могла быть очень жестокой. Однако, что удивительно, несмотря на все это, она все же находила некую возможность обрести контроль над собой. Эта девушка никогда полностью не открывалась мне. Впрочем, меня это особо и не интересовало. В юности она, вероятно, пострадала от какой-то сильной психической травмы, и далеко не маленькой. Возможно, ее изнасиловал родной дядя, или же она увидела свою мать, истязающей кого-нибудь в припадке безумия, а может, она была пассивной соучастницей утопления родного брата в речке. Короче, что-то в этом духе. В ней проявлялось некое чувство бессилия, порождавшее подобные приступы, и это было неразрывно связано с отсутствием у нее доверия к себе и даже с тем фактом, что она предпочитала людей посредственных и мягких, нежели тех, кто мог бы привести ее к славе и успеху. Это ощущение бессилия было так велико, что она никогда не предпринимала попыток хоть как-то повлиять на ход вещей. Именно этим и была обусловлена ее отчужденность. Рейко ничем не занималась, кроме исполнения предлагаемых мною ролей в моих комедиях. До нашей встречи она убирала офисы и выполняла еще какую-то мелкую работу. Некоторое время она подрабатывала кем-то вроде хореографа в стрип-клубах — обучала технике движения девушек, которых еще не выпускали на сцену. Если подумать, то это была суперработка! А потом, она была так красива... Я ощутил ее ауру, как только увидел на прослушивании. Я сразу отметил непреклонность ее воли — невозможно было заставить ее делать то, что она не хотела. Конечно, на самом деле это было не совсем так, просто она пережила серьезную травму. Что-то сломалось в ней, и это усиливало внутренний конфликт, не утихающий до сих пор. Вот что я имею в виду, говоря о ее ауре. Она снималась обнаженной для журналов, нет, не для мужских журналов, которые выходят огромными тиражами, а для каких-то подозрительных маньячных изданий. Видя свои фотографии на их страницах, она должна была чувствовать себя жалкой, униженной. Наверно, она спрашивала потом себя, а стоило ли трудиться ради таких убогих результатов? Рейко боялась больше всего, что на ее изображения будут смотреть обычные люди, она не хотела быть развлечением для обычных людей. Для нее это была серьезная угроза. Тут имеет место так называемый ПТС посттравматический стресс. Как это будет по-японски? А, кажется... «синтэкигаисиогосуторесусиогаи», так, что ли? Из-за этого стресса или чего-нибудь подобного все, кто ее окружал, представляли для нее угрозу, даже люди из высших слоев общества. При этом она совершенно спокойно чувствовала себя в стрипбарах низкого пошиба на улочках квартала Сибуя. Все нормальное сразу ее настораживало. Это тотчас же заметила Кейко и стала всячески противиться, когда я решил подключить Рейко к одному из своих проектов. Кейко и Рейко были как масло и вода.

Что сильнее? Бессмысленный вопрос, потому что не определено значение силы. Я всегда считал, что люди более сильные, чем я сам, более человечны. Нельзя сказать, что я ошибаюсь, хотя, возможно, это и не совсем точно. Рейко была менее человечна, чем Кейко. Это было видно по тому, как сильно менялось ее поведение, когда она уже плохо контролировала себя и

постепенно теряла свое обычное самообладание. Пока она держала себя в руках, это было самое покладистое существо. Но как только она распустилась, как только ее поведение стало мало-помалу меняться в худшую сторону, она сделалась жестокой, причем гораздо более, чем все остальные. В действительности я никогда не мог постичь до конца ее суть. Я не понимал ее. Поэтому она и была опасна. Я дошел до того, что стал наблюдать за людьми, стал выискивать все что есть в них неуправляемого и эгоистичного. Только поверите, что кто-то посвятил вам свою душу и тело, и вот, пожалуйста, можете посмотреть, как этот человек вас предает. У меня был приятель, немного странный, так вот он никогда не мог удержаться, чтобы не извиниться перед женщиной, которую он отымел сзади. Так прямо и говорил... Простите, последнее время я так и сыплю словечками, которые не пристало употреблять в обществе дамы. Прошу извинить меня. Это не из-за кокаина. Терпеть не могу, когда намешают марафет с выпивкой и хамят. Я прекрасно понимаю, что вы пришли сюда не для того, чтобы слушать истории про странных женщин вроде Кейко и Рейко. Но ничего не могу с собой поделать... И вовсе не Рейко заставила меня стать бродягой. Уверен. Хотя факт моей уверенности отнюдь не означает, что это не так. Рана, которую она нанесла мне, — это я сам. И все самое настоящее во мне — это тоже я. Вот единственная вещь, которую я хочу донести до вас. Признаюсь, хочу попытаться задобрить вас, потому что вы кажетесь мне женщиной культурной и неглупой. Конечно, мне хочется, чтобы вы убедились, какой я несчастный, намереваюсь затащить вас к себе в постель часа на два... Шучу, шучу! Это невозможно. Я всего лишь хочу оправдаться. Да, точно — оправдаться. Когда я решил стать бомжом, намеревался жить без оправданий. Но, как уже говорил, настоящим бродягой я не был. Еще с лицея у меня осталась привычка мыться от случая к случаю. Оказалось, что ее нетрудно возобновить

Но я не преследовал цели покарать себя за что-то. Еще меньше мне хотелось по пасть в компанию с самым последним отребьем американского общества. Стоило мечтать! Все это ложь! Не может быть ничего общего между этими неудачниками, поставленными вне этого самого общества, потерявшими последние остатки стыда, и мной. Во-первых, все они — дермо. Они не заслуживают ни малейшего сочувствия, да и сами его отвергают... Так о чем я говорил? Мой друг очень любил называть одной женщине, с которой не был знаком лично, и домогаться ее. Он гордился этим и говорил, что от этого сильно возбуждается. Это могло поставить его в весьма щекотливое положение, ведь он ни на секунду не задумывался о том, что эта женщина однажды может ответить ему тем же. Впрочем, вероятно, он все же предполагал такой исход, но просто не желал рассматривать эту возможность. Жизнерадостный был человек! Ни в чем не сомневался. Совсем как я. Со мной произошло то же самое. Со мной и с Рейко, когда наши отношения достигли определенного рубежа, и она сумела нанести мне удар. Несмотря на свою абсолютную покорность, она разорвала наши отношения. Рейко поступила так, словно меня никогда и не существовало. От такого обалдеет кто угодно! Это полностью опустошило и обессиилило меня. Это бессилие подобно тому, с каким жила все это время сама Рейко. Люди созданы так, что способны совершенно бессознательно сделать вам тоже, что когда-то претерпели сами. Много раз я сам содействовал ее внутренним переменам, но оказался неспособным предвидеть то, что может из этого получиться, понять то, что может понять сама Рейко. Думаю, я был слишком уверен в себе... Хотя проблема, на мой взгляд, не в этом, просто я был элементарно слеп. Мы запрограммированы так, чтобы не замечать, не задумываться о возможности того, что может уничтожить нас на самом деле...

Итак, Рейко решает накраситься. Она открывает свою сумочку и, не роясь, аккуратно достает оттуда губную помаду, тени для век, тушь... Все это рассыпается по полу. «Что это тебя так тря сет?» — говорю я. «Ах, учитель, я хотела только подкрасить губы. Если не подкращусь, стюардесса будет надо мной смеяться.

А, вот, наконец». В руке у нее появляется что-то красное. «Стой, это же маркер, это не помада!» Но Рейко уже поднесла его к губам, и я пытаюсь ей помешать. Она в полном смятении. Ее начинает трясти еще сильнее. Вместо губ она быстро проводит маркером по лицу. Она не может удержать дрожь в руках. Схватив маркер, она должна была предвидеть это, тем более что она вытянула шею, и голова теперь стала похожа на голову доисторической рептилии, вылезающей из болота, как на татуировках, популярных в шестидесятые годы. «Стой! Пожалуйста, перестань!» — продолжаю орать я, заводясь в свою очередь. И вот она оборачивается... улыбается... «Но это же я, посмотрите, это же я, я всегда была такой...»

— Я могу рассказать вам и другой свой сон, даже сотню их, но, боюсь, вас это смутит, а я покажусь еще более смешным. Да уж, настоящая исповедь... Обычно говорят, что это отличное средство для того, чтобы исцелить раны, нанесенные самолюбию. Что до меня, то я никогда не думал, что впутывание в свое личное дело постороннего может принести облегчение. С чего бы это? Подумайте сами, почему простой факт исповеди обязательно должен принести утешение? Вздор. Какова природа физического страдания? Из всего того, что я знаю об этом, не следует, что оно сильно отличается от страданий, причиненных ранением в физическом смысле. Как человек, любящий наркотики, уверяю вас, что, когда Рейко впадала в очередной свой кризис, я не употреблял ничего, кроме марихуаны. Разумеется, это была ошибка. Надо полагать, я просто был не способен принимать ничего другого. Скорее всего, если бы я, предаваясь с Рейко страсти, рискнул попробовать иные наслаждения и полностью отдался им, я обнаружил бы, что она ничуть не отличается от других женщин, с которыми я переживал то же самое. Ничем не отличается! Это было бы абсолютно ясно. Только наркотики могут стирать различия. Я не люблю такие не-щи, как ЛСД, марихуану или мескалин. Они всего-навсего обостряют самосознание. А мне нравится, когда его вышибает вовсе. Когда оно исчезает, наступает бесконечность, а это уже чистая механика. Как только вы перестанете думать о том, как это делается, стираются последние различия. Все абсолютно одинаково. Такова сила наркотиков. Кажется, я становлюсь романтиком...

Я начал смутно предвидеть неприятности между мной и Рейко. Мне показалось, что в наших отношениях появилось что-то странное. Странное? На самом деле чистая иллюзия. Ничто. Чтобы это заметить, мне потребовалась чертова уйма времени — какая непростительная глупость! Мне почти что стыдно признаться в этом, да еще при таком количестве наркотиков, которое мне пришлось проглотить. Я чувствовал себя сильно задетым. Не думаю, что и моей жизни был когда-нибудь более бездарный эксперимент! И была лихорадка, и трещинки на коже появились — настоящая рана на моем теле. Словно это были язва, ожог, терзавшие меня изнутри. Я по-настоящему страдал.

Мой отец умер, когда я был совсем юным. Один раз я был женат, наш ребенок скончался через некоторое время после рождения. Эти два эпизода были для меня бесконечно мучительны. Вопрос не в том, который из них больнее отозвался во мне. В каждом случае печаль ощущалась по-своему. Но такое страдание переносилось легче, потому что в обоих случаях с любимыми людьми меня разлучала смерть. Время примиряет, не правда ли? И мысль убить Рейко посещала меня неоднократно. Убийство неверной женщины — не такое уж новое явление, и подобного рода случаи не всегда обусловливаются времененным помрачением рассудка. Нет, проблема в том, что такая женщина продолжает жить. И живет с другим мужчиной. Тот факт, что она проводит время не с тобой, делает существование немыслимо тяжелым. «Ревность» — нот слово, которое

отлично передает такие ощущения. Для человека, который от души старался наполнить ее жизнь счастьем, ревность невыносима. Как к этой женщине, отдавшейся своему любовнику, так и к мужчине, не имевшему своего «я». Я пережил ужасный период. Я первый раз вот так кому-то исповедуюсь, уверяю вас. У японцев не принято рассказывать о себе, как я делаю это сейчас. Чтобы говорить об этом с американцами, я недостаточно хорошо владею английским. А вам я все это рассказываю, наверно, оттого, что вы женщина, японка, вы умны, потому что вы здесь живете и работаете... Но, пожалуйста, не подумайте, что я затеял этот разговор, чтобы попытаться смыть с себя все дермо, в котором вывалился, что хочу показаться безумным и оправдаться этим. Я всю жизнь ненавидел исповеди.

Будучи бомжом, я хотел проверить на опыте, когда наступает момент потери представления о границах самого себя. Я имею в виду момент исчезновения своего «я». Это не потеря рассудка, хотя я знал многих, кто дошел до полного самозабвения. Вы не меняете одежду неделями, не имея ничего, неустанно вытираете пот, не умываетесь, и все это для того, чтобы снизить температуру на градус. И в какой-то момент пот, жир, сопли, моча, дермо, блевотина и кровь смешиваются на вас в одну массу, и вы теряете всякое представление о границах вашего тела. Вы доходите до того, что вам становится даже комфортно. Дерьмо? Я имею в виду ваши собственные испражнения. Но из этого незачем делать целую историю. Ну, вы перестаете испытывать какое-либо отвращение к собственному дерму, а потом и к чужому. Ну, один или там два раза, может быть, испытаете, а потом все пройдет. Бомжуя, я быстро понял, что Соединенные Штаты — рассадник садистов. Это касается не только банд подростков, тусующихся целыми днями на улице. Днем на вас может наброситься кто угодно коммерсант, женщина или даже семейная парочка. Люди протягивают вам кусок, а потом могут ударить ногой. Ну, вы понимаете, о ком я? «У нас четырехдневный отпуск, и мы направляемся на западное побережье. Но это не означает, что мы такие уж богачи. Мы из деревеньки, что находится прямехонько между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Знаете Олдвич? У нас там скобяная лавчонка. Мы долго раздумывали, куда потратить наши скромные накопления. Можно купить макинтош, а можно съездить в Нью-Йорк, посмотреть балет. В конце концов, мы решили отдохнуть. Разгрузиться, так сказать, психологически. Мы будем смотреть балет первый раз в жизни. Мы в этом ничего не понимаем, мы не принадлежим к высшим слоям общества. Мы более скромного происхождения. Мы прилетели эконом-классом и сняли дешевенький номерок в «Холидейинн». Я не понимаю, что такое «Жизель» или «Петрушка». Не знаю даже, как это пишется. Во всяком случае, знаю, что это не по-английски. Энди и я сходимся в одном — путешествие не должно ограничиваться ресторанами и кино. Да, в этом мы едини. Человек... человек, да, думаю, что можно выразиться и так, человек нуждается в общении. Ну или что-то в этом духе. Мы хотим общаться с максимально большим числом людей. И поэтому мы выбрали именно вас. Думаю, вы понимаете. Я говорю «vas», хотя должна была сказать «Вас», именно так, с большой буквы, потому что... ну... видите ли, вас тут шестеро, не так ли? И мы хотим выразить свое уважение каждому из вас. Вы должны знать, что в ваших глазах еще есть проблеск... он никогда не погаснет». Все это происходит на юго-восточном углу Тайм-сквер. На пересечении с улицей Фрешэлл. Воздушные шарики, уличные торговцы...

Я часто приходил туда вместе с другими несчастными погреться на солнце. Его-то уж хватало всем! Вот там и стояла эта женщина средних лет, в синтетической юбке, свитере и пальто. Она была вся покрыта шрамами и стояла на таких высоких каблуках, что становилось страшно, что она может грохнуться прямо перед нами. Она подошла поговорить. Рядом с ней отирался нестарый еще мужик, по виду торговец, недавно приехавший из Восточной Европы. «Проблеск света в ваших глазах! Бред! Да такое можно сказать кому угодно. Тут один парень, его звали Сэтч, у него еще суставы рук были вывернуты наружу из-за какой-то болезни, ей и

говорит: «Никогда еще не видел более уродливой бабы». Старуха Ми Каса, полная развалина, так испугалась, что попыталась убежать от этой парочки, но так как не могла самостоятельно передвигаться, ей удалось лишь перегнуться через спинку скамейки. Ми Каса была сумасшедшей. Она не понимала ничего из того, что ей говорили, но обладала интуицией и всегда угадывала. Эта парочка вернулась поздно вечером. Я купил полбутылки «Джека Дэниелса», и мы передавали ее по кругу. Недалеко от нас какие-то чернокожие играли в футбол. Они вылезли из помятого «шевроле», и когда у них в руках я увидел ящик с инструментами, понял, что это были не враки — у них действительно скобяная лавочка! Сперва они схватили Сэтча и заковали его в наручники, положив его спиной на скамейку. Он даже не мог пошевелиться. А потом они принялись щипать его за живое мясо плоскогубцами, хватая за все части тела, раздирая лицо и руки. Говорят, бомжи настолько привыкли к побоям, что стали почти нечувствительны к боли, но, доложу вам, хватать человека клещами — это чересчур. Поначалу все лишь недоверчиво косились, а потом поднялся один чернокожий, Рьетан, и попробовал их остановить. Тогда женщина неожиданно выхватила нож и ударила его по ноге. Ни хрена себе, тесачок! Я никогда не видел махину таких размеров, больше похожую на мачете, которыми на Карибах рубят сахарный тростник. Настоящий боевой секач! У Рьетана было перебито колено, и он рухнул как подкошенный. Женщина оставила его и продолжила начатое. Она все время что то говорила сквозь зубы, и, судя по всему, не по-английски. В какое-то мгновение мне показалось, что она говорит по-японски, но это, конечно, было невозможно. Сейчас я думаю, это, скорее всего, был венгерский или иной язык Восточной Европы. У венгерского интонации очень близкие к японскому. В это время муж чина обливал Ми Каса бензином из банки, приговаривая, словно мальчишка, стреляющий из водяного пистолета, «Пфф-пфф!» «Что ж ты делаешь?!» — закричал я. Когда я увидел, как из ушей Рьетана хлещет кровь, мне подумалось: а не лучше было бы пристрелить его? Все бросились бежать, даже дети, игравшие в фут бол. Последнее, что я увидел, были загоревшиеся ноги Ми Каса. В ту же секунду я понял, женщина со своим чудовищным ножом направляется в мою сторону. На ногах у нее были дешевые кроссовки, и бежала она очень резво. Все, за исключением Сэтча, Ми Каса и Рьетана, быстро свалили, и эта фурия бросилась за мной. Было около часа ночи, может быть, около двух. В какую сторону я бежал, сейчас не вспомню. Надо сказать, некогда было разглядывать вывески с названиями улиц. Я не думал, что можно так потеть. Мое дыхание отдавало кокаином, двигаясь с такой скоростью, я испытывал сильную боль. Неожиданно почувствовал, что из носа идет кровь. Никогда не любил забеги на длинные дистанции. Казалось, эта женщина будет преследовать меня до края вселенной. Навстречу попадались люди, но они не проявляли ни малейшего интереса к происходящему. Все нормально: женщина бежит за каким-то мужиком, бомжом, судя по всему... Должно быть, они думали, что я что-то украл. Да думать они могли, что им угодно, только мне-то от этого не легче. Корка грязи на моем теле растрескалась от пота — мерзкое ощущение, доложу вам. Женщина с ножом не отставала. Я рванулся было в «Дели», открытое до поздней ночи, но двое охранников захлопнули дверь. Я предпринимал отчаянные усилия, чтобы увеличить дистанцию, как вдруг мне показалось, что эта зараза коснулась ножом моей спины.

Я принял швырять в нее бутылками из-под апельсинового сока, что валялись перед «Дели», и со второго раза попал ей по зубам. По-моему, даже послышался хруст. Я заорал по-японски: «Замаамиро!» Охранники, которые поначалу не очень-то спешили вмешиваться, крикнули ей, что они вызывают копов. Тогда женщина в сердцах треснула своим ножом по стеклянной витрине. «Они звонят в полицию!» — кричал я, не переставая, однако, бомбардировать ее бутылками. Брови ее были сдвинуты, изо рта текла кровь. Сумасшедшая! Я раздумывал, что делать дальше: ждать полицейских или бежать, но тут она снова бросилась на

меня, и я помчался без оглядки. Как понимаю теперь, это было наилучшее решение. Ждать копов не имело смысла: у меня были с собой кокаин, немного героина, гальцион и несколько пакетиков спид. К тому же при мне были «Амекс» и «Голден-кард», а мой паспорт был весь синий от кубинских виз. Если бы полицейские взяли меня, то я вполне сошел бы за шпиона, и меня в два счета вытурили бы из страны. Баба прочно сидела у меня на хвосте, впечатление было такое, будто она специально тренировалась, бегая трусцой отсюда до западного побережья. Помню еще, что постоянно думал, выдержит ли такие забеги мое ослабевшее от кокаина сердце, но оно, как ни странно, не давало никаких сбоев. Это меня немного приободрило. Женщина сдалась только после того, как я свалился в канал, который пересек так же быстро, взяв направление на Чайнатаун. От нее я вроде бы избавился, но то, что произошло со мной на следующий день, было похуже.

Я пил кофе в «Блю-Хаус», что находится в Ист-Виллидж. Это очень невзыскательное местечко, содержащееся на средства нью-йоркской мэрии. Во всяком случае, там есть где приткнуться. Вот там-то я и сидел с чашкой кофе, когда туда ввалилась компания латиноамериканцев, все как один приятели Ми Касы. Они схватили меня за шиворот, отвели в сторонку и сломали три пальца на левой руке. Среди них был один бомж, как и я, все остальные были обычные мелкие дилеры. Мне наговорили кучу вещей по-испански, но чего от меня хотели, я так и не понял. Кое с кем из них я был даже знаком, так как мне случалось покупать у них кокаин. Вообще у латиноса очень сильно развито чувство национальной солидарности. Они никак не могли смириться с тем, что с Ми Касой кто-то мог так поступить. Но, по-моему, ломать мне пальцы тоже было несколько жестоко. Такая штука сразу сводит на нет желание сопротивляться или защищаться, разве что только от обычных, легких ударов.

Я отправился к доктору в итальянский квартал. В «Маленьком Италии» у меня было немало знакомых. Это случилось, когда я уже возвращался и проходил мимо дамского бутика. Что-то австрийское или немецкое... забыл. Может, вы знаете, но, кажется, теперь его там нет. Он находился на Кристофер-стрит, прямо напротив «Эмпорио Армани». На витрине я увидел сногшибательное платье, короткое, черного бархата, отороченное у ворота красным, без рукавов. И только я подумал, что оно неплохо бы смотрелось на Рейко, как меня словно пригвоздило к месту. Остатки сил покинули меня. То же самое я чувствовал, когда мне ломали пальцы. А ведь я считал, что уже освободился от нее или, вернее, был на пути к этому. Прошло уже больше года, как мы расстались... Платье меня убило. Сейчас уж и не вспомню все свои ощущения в тот момент, но, кажется, это было подобно удару током. Шестьсот тридцать девять долларов. Глубокое декольте, открывающее грудь, без всяких там горжеток и висячих финтифлюшек... Плотно облегающее фигуру... Это платье ей было бы как раз впору. Разум мой помутился. Мне интересно, почему это платье так разбередило мои едва затянувшиеся раны, что я едва не упал без чувств? Ведь я никогда особо не завязывался на шмотках для этой девки! И только спустя некоторое время я это понял. Иначе говоря, все наши чувства имеют предметное выражение. А если существует бесконечность формулировок насколько бессмысленных, настолько же и бесстыдных, как, например, «я люблю тебя» или «я хочу тебя», в моем случае все эти слова материализовались в этом платье. «Я люблю тебя» — мое чувство полностью выкристаллизовалось в вещи, во все платья, что я ей покупал. Она была счастлива. Она снимала их передо мной. Я любил ее. Именно поэтому моя рана заныла вновь. Тогда, в тот момент, я почувствовал себя героем какой-то игры. Искать удовольствий в сентиментализме означает впасть в иллюзии, которые могут рассеяться в одно мгновение. Вот какая мысль поразила меня, пока я стоял перед этим шестисотдолларовым платьем. Разумеется, хоть и не желая этого, я снова погрузился в пучину страданий. Старая рана открылась от слишком резкого движения. У меня не осталось сил даже на кокаин. Я заглотил натощак семь таблеток гальциона

и отправился спать.

И опять начались кошмары... «Учитель! — в телефонной трубке я слышал голос Рейко, назойливый и мрачный. — Учитель! Простите меня, я была неправа. Учитель, я не могу жить без вас. Теперь я это понимаю. Может, уже поздно? Я покончу с собой. Я хотела последний раз услышать ваш голос, учитель...» Вот какого сорта звоночек приснился мне, будто бы я в одночасье превратился в работника Службы спасения!» Перестань говорить глупости! Где ты?» Я вылетаю вон из квартиры. Уже на улице до меня доходит, что я не знаю, где она живет. Я прыгаю в машину. Как бы там ни было, решаю проехать по кварталу Роппонги. Теряя самообладание, наблюдаю ее номер. «Алло, учитель? Это вы мне звоните? — произносит она каким-то диким голосом. Голосом человека, раз десять проткнутого кинжалом. — Я в бальном зале в пристройке «Принц Отель Акасака». Я собираюсь спросить ее, что она, черт возьми, там делает, и тут замечаю, что я в пижаме! В коротенькой веселенькой пижаме с самолетиками или бегемотиками, как у детей. На ногах у меня соломенные сандалии. Голос у Рейко такой скорбный, что меня охватывает тревога, и я бросаюсь искать эту бальную залу. Зал такой-то... салон чего-то там... в коридоре нет света и почти ничего не видно. В другом его конце я замечаю полоску света. Прямо за дверью стоит Рейко: «Учитель, здесь! Я здесь!» Она зовет меня, словно привидение под плакучей ивой. Я вхожу в дверь, и тут неожиданно вспыхивает свет. Передо мной толпа непонятных молодых людей, которые вдруг окружают Рейко. Я плохо их различаю, но вижу, что они гораздо моложе меня. «Видишь, ты все-таки пришел», — говорит Рейко, смеясь и обнимая одного из них. Из колонок невыносимо громко доносится безжизненная музыка — техно или хаус. Слышны взрывы петард. Юнцы хватают меня и выталкивают в одной пижаме на середину зала... Кошмар. И знаете, что делаю я? Чтобы не встретиться взглядом с молодым человеком, обнимавшимся с Рейко, я опускаю голову... Опускаю, да...

Ужасный сон, правда? «Непростительный» сон! Это слово мне кажется наиболее подходящим. Единственное слово, способное отразить суть вещей, даже если я скажу, что совершенно не боялся, когда за мной гналась эта женщина с западного побережья, или что ничуть не страдал, когда банда латиноамериканцев ломала мне пальцы. Тогда, даже если мне и удавалось избавиться от этих кошмаров, все равно реальность оставалась самым невыносимым аспектом моего существования. То, что я сейчас говорю, конечно, банальность. Я никогда не принимал насилия, даже в детстве. Это, разумеется, не значит, что я не был драчливым мальчишкой, скорее, воспитывался в такой среде, где подобный вопрос даже не рассматривался. Ребенок из среднего класса, как любят говорить в Японии. Мои родители были провинциалами, обосновавшимися в Токио. Отец сначала получил место в фармацевтической компании, потом стал весьма многообещающим специалистом. В пятидесятых-шестидесятых годах много говорили о тяжелой промышленности или о строительстве, однако достаточно достижений было и в химической отрасли. Удалось, например, создать огромное число новых молекул. Мой отец участвовал в разработке уж не знаю скольких фармацевтических препаратов. У нас с ним были похожие характеры, хотя отцу не хватало гуманности: он любил порассуждать о том, что вот если бы можно было пренебречь побочными эффектами, то он бы тогда мог создать нечто невообразимое! Я никогда не видел, чтобы отец сожалел о чем бы то ни было, даже когда отправился и заболел... Он говорил сам себе, что это образ мышления его поколения, поколения конца эпохи Тай-сё. Вы можете подумать, что мой отец был человеком холодным и равнодушным к чужому горю, хотя он очень любил животных. Ну да, мы жили в Сетагайя, и у нас была собака. Я не хочу сказать, что он так уж любил собак. Это скорее был всего лишь предрассудок, в соответствии с которым он полагал, что в доме надо иметь пса, причем неважно, какого ублюдка, лишь бы была собака. Поэтому у нас всегда жили собаки, и всегда

нечистокровные. Больше всего я заботился о двух: пуделе и помеси кого-то с кем-то. Они жили у нас лет десять, начиная с тридцатого года эпохи Сёва. А потом в моду вошли колли благодаря сериалу «Лесси».

Интересно, Какая порода сейчас самая модная в Японии? Два-три года назад были эскимосские лайки. Вообще никто не занимается изучением этого вопроса, хотя это важнейший момент в понимании динамики массовой культуры в нашей стране. Странно, но до той поры у нас жили только помеси. Когда же это было? Сколько мне было лет? Я еще учился в начальной школе... Ну да, уже не в детском саду и еще не в колледже. У нас была черная собака, которую звали то ли Сэм, то ли Джим, ну как в том сериале «Бонанза». История о строгом отце и о его трех сыновьях... имя в честь второго или третьего сына. Или нет, скорее не Сэм и Джим, а Хосе или Майкл. Да, что-то в этом духе. Я очень любил этого пса, хотя это и не означало, что каждый день его выгуливали или кормили. Скорее всего он ценил меня. С собаками я пропадал одну штуку. Это может вам показаться садизмом, но прошу вас, не судите поспешно. Вы же достаточно умны, чтобы понять меня правильно. Да не беспокойтесь, не собираюсь я говорить, что хлестал его плеткой. Вообще истязание может называться по-разному. Я не буду читать вам лекцию на эту тему, но, между прочим, знайте, что нельзя получить удовольствие, как обычно думают, от зрелища страданий вашего партнера, от его рыданий, криков и молений о пощаде. В конце концов, это отчуждает. Я со своей стороны полагаю, что истязание оправдывает себя, только лишь когда ваш партнер сам желает этого, когда он хочет быть истязаемым. Короче, я знаю одну штуку с собаками. Они любят меня, ибо собака — животное общественное. Вы знаете, что собаки способны испытывать чувство, удивительно напоминающее стыд? Собаки не различают цветов и плохо видят в дальность. Наденьте другую одежду и подойдите к собаке, знающей вас, с подветренной стороны — она злобно оскалится и залает, приняв вас за чужого. Но вам достаточно гаркнуть на нее: «Что же ты делаешь, балда?!» — и псина, осознав свою ошибку, уже опускает голову и приветствует вас. Ей стыдно, она сконфужена. Она виляет хвостом и трется о ваши ноги. Мгновение назад она рычала, а теперь, смущенная, отчаянно вертит хвостом с таким видом, будто произошло что-то из ряда вон выходящее. Взгляд отводит, глазки бегают. Фокусничает, одним словом. Я не оправдываю такое поведение, а только хочу подчеркнуть тот факт, что это является социальным феноменом. Собака очень хорошо понимает, что делает. Она видит направленный на нее взгляд и испытывает сильное стеснение из-за своей промашки. Ругать животное имеет смысл лишь тогда, когда оно недостаточно хорошо осознает мотивы своего поведения. Это помогает сформировать ее личность. Вот мой секрет, как заставить собаку полюбить меня. Вот я и говорю, хотя теперь это может быть и не важно, что садистские отношения возможны, только если ваш партнер желает вас и испытывает к вам глубокое уважение.

Майкл был очень привязан ко мне. Однажды отец привез домой крупную сумму, полученную им от исследовательской лаборатории, или уж не знаю от кого. Происхождение денег он объяснил так заковыристо, что можно было подумать, будто папа спецагент, занимающийся промышленным шпионажем. Мама, однако, считала, что это врачи, просто отец продавал конфиденциальную информацию, ну, всякие там секретные штучки, я уж не знаю, какой фирме, не фирме... скажем, некоей государственной компании. По правде говоря, мне было на это наплевать. Отец испытывал верноподданнические чувства к организации, которая использовала его на полную катушку, да и хрен с ним. Он был спец по инсулину, как я потом узнал, впрочем, это мне тоже было по барабану. Ну, короче, папа и заявляет: а не завести ли нам колли? Если говорить о том, кто из них был умнее, то я думаю, что мать. Здесь она превосходила его, и намного. Она была хилой женщиной, но компенсировала физический недостаток впечатляющим умом и способностью к концентрации. Как и отец, она

специализировалась в области химии, они с отцом были знакомы со студенческих лет, что, кстати, не такая уж редкость. Мать, начав писать, оставила работу и постепенно превратилась в домохозяйку. Под ее писаниями я подразумеваю не составление статей на химические темы, нет, она занималась музыкальной и кинокритикой. Ее имя вам о многом бы сказало, если бы я вам его назвал...

Какой это был чудесный момент, когда родители сказали, что хотят завести колли. От радости все просто походили с ума! И все из-за этого сериала «Лесси». Ну, вы же знаете его? В то время мода на колли обуяла практически всех. Вообще склонность японцев примеривать на себя западные стандарты в области моды и вкусов поразительна. Оставалась только одна проблема: что делать с Майклом? Из-за колли мы почти что лишились рассудка. «Ну, в общем, мы договорились», — сказал отец. В тот же день он забрал Майкла и выбросил его где-то в префектуре Ямагата. Я заметил его исчезновение, когда вернулся из школы. Мы с матерью обегали весь район Сетагайя, ломая голову, куда же он подевался. Мы даже подумать не могли, что отец вот так вот его выбросил. У отца тогда был здоровый мотоцикл, да еще и машина. Должно быть, он посадил Майкла в мотоциклетный багажник... «Что происходит, мы не можем найти Майкла!» — крикнула мать, когда он вернулся. Отец вошел, не снимая шлема с огромными защитными очками: «Я избавился от него». Только и всего. Мать разрыдалась... «Ты что, идиотка?!» — заорал на нее отец. Он-то считал, что мы согласны заменить Майкла на колли, что одного этого факта уже достаточно, чтобы нас утешить. Но поскольку я был ребенком, а мама — женщиной, мы с ней воображали, как Майкл и колли будут вместе играть и бегать у нас в саду.

Отец нисколько не сожалел о своем поступке. «Завтра у нас будет колли», — изрек он за ужином. Бедняга Майкл! Отец вез его до самой границы Ямагата и Нагано, а он сидел, не шевелясь, в своем ящике. Проведя несколько часов взаперти, он, должно быть, обалдел, очутившись в полосе лесозаготовок. Он, наверно, подумал, что его затащили сюда, чтобы заняться какими-нибудь упражнениями, и на радостях стал дурачиться. Это был охотничий пес, помесь сеттера или еще кого-то в этом роде, собака, созданная для бега. Он был счастлив оказаться в горах. Он припал к земле и полз на животе до самой кромки леса, а потом мигом излетел на холм. «Я немедленно развернулся и дал по газам. Майкл просек это и бросился за мной. Горная дорога изобилует крутыми виражами и, мало того, не имеет покрытия, поэтому очень трудно держать скорость. Я видел, что Майкл потихоньку сокращает дистанцию. Боясь не вписаться в поворот, я не оборачивался, но даже через шлем было слышно, как он лаял. Он замолкал, только когда подбирался совсем близко, так как, выкладываясь в полную силу, собака не может лаять. Уклон был значительным, повороты следовали без конца, но ему это было ни почем. Глядя время от времени в зеркало заднего вида, я видел его силуэт, и он мало-помалу приближался! На мгновение меня пробил мандраж. Нечего говорить, достойное зрелище! У меня бегали мурашки по коже, когда этот маленький засранец из последних сил едва не догнал меня! Он выглядел так жалко и в то же время так трогательно, что я затрясся от досады. Но еще хуже мне стало, когда Майкл начал постепенно отставать. Потом он остановился совсем... Мне стало так страшно, что я вывернулся до отказа ручку газа. Мотоцикл взревел как бешеный. И тогда Майкл сдался. Я видел его, окутанного облаком белого пара. Он упал на землю, только голова еще тянулась ко мне. Не поднимаясь, он пролаял несколько раз. Лай был пронзительный, несмотря на шлем, он сильно резанул по ушам. Господи, как это было тяжело! Я чуть не помер там...» Все это отец рассказал в тот же вечер. Нам с мамой было очень худо. Не знаю, как она, а я все время думал об одной вещи. И отец озвучил это за меня, как только окончил трагический рассказ про Майкла: «Завтра у нас будет колли...»

Вот так вот я воспитывался. Семья интеллектуалов. Учеба в частной школе. Дрался я очень

редко, но и тогда не оставлял ни малейшего шанса своему сопернику. Едешь, бывало, в метро: «Ты вооружен? Пушка есть? А ну слезай!» Бились по правилам, но таких хмырей я всегда валил. Это потому, что я умею сохранять спокойствие. Я никогда не был несчастлив. Не жил в нищете. Следовательно, то, что я стал бомжом, никак не связано с условиями, в которых я рос. Теперь я прекрасно понимаю, что мое решение бродяжничать было грандиозной ошибкой. Это самый смехотворный случай во всей моей жизни. Именно смехотворный, лучшего определения и не подберешь! Не то чтобы романтизм ничего не стоил... В этом мире вообще нет ничего стоящего. Беда не в романтизме. Нож в руке, да к тому же еще и мачете... Знаете, что это такое? Ну да, это что-то наподобие сабли, какой на Кубе рубят сахарный тростник. И бегать за человеком с такой хреновиной в руках либо ломать ему пальцы, словно сухие ветки для костра... В юности такого я не видел. А вот возьмите, например, больных СПИДом или хотя бы носителей вируса иммунодефицита. Вы можете себе представить, пусть даже приблизительно, что это за люди? Разумеется, можете. Для вас это просто больные СПИДом. Но познакомьтесь с ними поближе, послушайте их истории, узнайте, чем они занимаются, и вы сразу поймете, насколько ваши представления не соответствуют действительности. И что, возможно, эти представления сформировались у вас из-за того, что раньше вы их старались не замечать, а всю информацию получали через трети руки. Попробуйте представить себе пневмонию — вы немедленно подумаете «бронхит». У этой болезни есть свой образ. Но вы же не думаете, что способны через такой образ представить личность больного. А вот в случае со СПИДом подход остается именно таким. И с бомжами возникает та же ошибка. Правда, их немного больше, но и среди них есть люди, не потерявшие чувства собственного достоинства. Многие из бомжей, являющихся носителями ВИЧ-инфекции, тратят все свое время на чтение. Не то чтобы их было очень много, но встречаются. Я имею в виду не тех нелепых, с грязными волосами, в засаленных футболках, с лицами, такими черными от копоти, что изменяется даже их выражение, не этих парней, что сидят и бормочут что-то непонятное. Нет, есть среди них люди, которые всегда носят чистую одежду! Они живут в «Блю-Хаус» и проводят по двенадцать часов в день в библиотеке, читая и делая заметки. Не стоит, конечно, заблуждаться на их счет. Все это не означает, что они заслуживают уважения. Я только хочу сказать, что сложившееся у вас мнение о бездомных вовсе не отражает реальное положение вещей. А что до жажды знаний, то скажу, я знал шестерых бедняг, у которых была положительная реакция, так вот они знали на порядок больше, чем многие социальные работники, психологи и психотерапевты, работавшие в нашем районе! И это были вовсе не старые университетские пни — нет, все, что называется, из народа. Если подумать, то ничего странного в этом нет. Я не знаю, сделались ли они бомжами из-за того, что заразились ВИЧ, или же наоборот, но у каждого из них была по меньшей мере одна попытка самоубийства. Они походили на ребенка, что открывает для себя мир через родительское окружение. Им нужен был повод. Ну, представьте себе человека, который, надумав себе какое-нибудь сердечное заболевание, принимается штудировать трактаты по кардиологии. Дело здесь не в ненасытном стремлении к знаниям, просто им нужна информация, словно чего-то недостает им, словно у них отсутствует какая-нибудь часть тела.

Одного из них звали Джонсон. Ему не исполнилось и тридцати, а он уже знал наизусть Лакана, Фрейда, разумеется, Соссюра и Башеляра, Ролана Барта, Дарвина, Лоренца, короче, всех, вплоть до Карла Маркса. Он читал вещи, от одних названий которых можно было выздороветь. Ему достаточно было натолкнуться на цитату Эрикsona в популярной книжке про СПИД, чтобы тотчас же начать изучать все эриксоновские произведения. Стоило в книге Эрикsona найти ссылку на Лакана — извольте, он уже тащил к себе его собрание сочинений. Через Лакана он приходит к Фрейду, на которого набрасывается, как лев на кусок мяса, и прочитывает от корки до корки. Кажется, в свое время он продавал кондиционеры, но когда я с

ним познакомился, он больше напоминал Ницше. И он никогда не выставлял свои знания напоказ. Наоборот, он, скорее, стремился доказать, что не знает ничего. В «Блю-Хаус», где постоянно терлись социальные работники, один тупее другого, я ни разу не слышал, чтобы Джонсон произнес какую-нибудь глупость. На его лице всегда играла спокойная, чуть уловимая улыбка. Другие то и дело интересовались, кто это такой, но он молчал, словно каменный. Если ему задавали вопрос, он всегда отвечал предельно ясно. Он отвечал даже на самые идиотские вопросы типа: чем отличается носитель ВИЧ от больного СПИДом? И всегда очень интеллигентно. Джонсон, понимая, что мой английский достаточно слабый, старался объясняться максимально просто, словно я был пятилетним ребенком. Огромное число бомжей были носителями вируса. И, конечно, не все они были похожи на Джонсона. И если я что-то и вынес из того опыта, то только одну вещь — нет ничего общего между всеми тремя категориями: носителями ВИЧ-инфекции, больными СПИДом и бомжами. Это ясно как день. К Джонсону приходили за советом и бездомные, и больные. К тому же среди бомжей встречались еще люди вроде Джонсона, я знал как минимум шестерых. Они никогда не говорили о сложных и запутанных вещах, нет, это были простые и очень рациональные ребята.

В тот день, когда мне сломали пальцы и у меня вновь открылась старая рана по имени Рейко, я отправился искать Джонсона. «Не хочешь послушать печальную историю?» И я стал рассказывать ему о Рейко. «Скажи-ка, что ты думаешь о ней теперь?» — спросил Джонсон. «Да ничего особенно и не думаю», — ответил я. «А что думаешь делать? Может, хочешь примириться с ней?» Вряд ли я этого желал. В то время Рейко участвовала в этом самом немецком проекте и была претенденткой на главную роль. Я мог ей помочь, и когда она не получила эту роль, стали обвинять меня. Рейко оказалась предоставленной самой себе. Я честно сказал Джонсону, что в любом случае у меня не возникало желания участвовать в ее судьбе. Я скорее испытывал желание, чтобы этот проект вообще провалился, хотя и ненавидел себя за это. Тут я заметил, что Джонсон тепло улыбнулся. «Тогда все прекрасно. Вот ты и нашел в себе истинную сущность, которая поможет мало-помалу освободиться от этой женщины». Я был счастлив до безумия, услышав такие слова. До его самоубийства мы еще не раз беседовали на эту тему.

Да, Джонсон покончил с собой. Впервые в жизни я так переживал из-за смерти чужого человека. Существует не так уж много вещей, о которых можно составить определенное суждение, но я думаю, что самоубийство гораздо более страшная штука, нежели убийство. На досуге я мог бы поведать вам о массовых самоубийствах или об атаках камикадзе старой японской армии во время Второй мировой. Впрочем, я часто рассказывал об этом Рейко и Кейко, ибо, нанюхавшись кокаина и проглотив несколько таблеток экстази, делаюсь весьма разговорчивым. Еще хуже бывает, если я напиваюсь вином или шампанским. Рейко и Кейко оказались отлично совместимыми — они могли слушать мои выступления и, мало того, просили об этом. И я неизбежно дошел до того, что стал им рассказывать про войну! Нет ничего более паскудного, чем рассуждать о войне, сидя за обеденным столом!

В первый год учебы в лицее, когда мне еще и двадцати не исполнилось, я встречался с девчонкой на год старше меня. Она, кстати, тоже впоследствии покончила с собой. Я забыл ее имя, что-то вроде Джунко, Идзуми или Савако... Да, наверно, Савако. Ее воспитывала мать. Как-то раз мы разговорились с ней — она ходила в тот же пресс-клуб, что и я. Происшествие в студии Ясуда, студенческие волнения семидесятых... Да, было время! Тогда полагали, что

запасы угля неисчерпаемы, что сырьевых ресурсов хватит надолго, что растрчивать можно все и что растрата сама по себе является прекрасным средством борьбы с призраком как нищеты, так и излишества. В этом клубе обсуждали множество подобных тем — от «Проклятых земель» Франца Фанона до подробных рас смотрений комплексов, связанных с отсутствием отца в неполных семьях. Савако любила много читать, она и писала что-то и всегда была готова показать, как сильно она уважает свою мать. Стоило ей включиться в разговор, как она могла говорить без конца. Голос ее не слушался, она вспыхивала как маков цвет. Вы, наверно, встречали таких. Не особенно сексуальны, но зато способны убить уйму времени на обсуждение одного вопроса, когда имеется еще тысяча других, ну, вы понимаете? Странное сочетание: с одной стороны, болезненная застенчивость, с другой — непомерно раздутое «я». Она боялась лишь одного — не суметь сказать то, о чем ей хотелось говорить. Нет, вовсе не секси, куда там! Хотя готов биться об заклад, что она жаждала поведать кому-нибудь о своих комплексах по поводу фигуры, равно как и сексуальных влечений. Стоит добавить, что она была достаточно пухленькой. Ее глаза, очень большие, казались даже красивыми, если смотреть на них под определенным углом, но пальцы на руках и ногах были мясистыми. Из-за всего этого она, должно быть, очень переживала и упрекала как себя, так и своих родителей, пусть даже ей представлялось, что нужно решить только проблему с сексом. Достаточно было при ней заговорить о сексе, чтобы она тотчас же заявила, что способна на любые эксперименты в данной области, тогда как в действительности она предпочитала лишь злословить по любому поводу, ибо была слишком стыдлива, чтобы перейти от слов к делу. Бедняжка. Думая о ней, я сразу вижу ее, такую неловкую в своем лицейском костюмчике... еще не имеющую понятия ни о Франце Фаноне, ни о Элдриdge Кливере, озабоченную только вопросом прокалывания ушей и, уж простите мне это старомодное выражение, стремящуюся быть похожей на девушек с рекламных плакатов в витринах табачных магазинов! Вот такие мысли навевала эта толстушка с молочно-белым задом. Однажды я сказал ей, что собираюсь записаться на подготовительные курсы в университет или не помню куда. Тогда я уже начал ездить по Европе и по Индии. Лицей к тому времени я закончил. У родителей появлялся очень редко.

Была, как помню, зима. Это был второй или третий год моих путешествий. И вот Савако позвонила мне домой. Дня через три я должен был улетать то ли в Венгрию, то ли в Румынию. Конечно, я крайне удивился ее звонку, ведь мы не виделись, наверно, года три. Мы договорились встретиться в кафе у концертного зала в Сибуйя. Я очень хорошо это помню. Савако училась в каком-то провинциальном университете, изучала там историю искусств или что-то в этом роде. Я обратил внимание на ее прикид, облегающие джинсы на слоновых ногах ей совсем не шли. Казалось, она еще больше поправилась, стала еще круглее, чем в лицее, только вот по лицу пробегала какая-то тень. Я, конечно же, сразу подумал, что она до сих пор девственница. Ее лицо напоминало примитивное изображение грешника эпохи раннего христианства. Разговор как-то сам собою завял. Но ближе к вечеру мы решили пойти куда-нибудь выпить. Мне недавно исполнилось двадцать, я привозил из Восточной Европы кое-какой антиквариат, главным образом абажуры, поэтому деньги у меня водились. Я знал множество баров, в один из которых и пригласил Савако. «Взрослая девушка позволила себе поразвлечься со своим младшим дружком», — сказал я Савако у барной стойки. Так прямо и сказал!» Да ты что, бредишь?! — засмеялась она. — Во что превратились старые друзья? В какой притон для психов ты меня затащил? А не ты ли, начитавшись Рембо, клялся и божился, что уедешь из этой страны?» — прибавила она, потягивая свой коктейль. Взгляд ее постепенно стекленел. Я стал ей объяснять, что в некотором роде я и уехал из страны, но, говоря все это, больше и больше убеждался в том, что ей прямо таки не терпится переспать со мной.

Чем же я занимался в то время? А, ну да, я начал приобретать антиквариат, декоративные

блюда и тарелки на юге Индии, в одной деревеньке, где в качестве такси использовали верблюдов и которая называлась... что-то вроде Пулу... ах да, селение Биджа-пулу. Я был полностью захвачен делами! Я покупал дешевые вещи в одном месте, перепродаив их в другом, их быстренько подновляли, наводили лоск, и готово. Все началось с Индии, в те времена не очень известной страны в Японии. А потом уже были Южная Америка, Восточная Европа, Африка. Девушки обожали слушать рассказы о дальних странах. Да и сейчас ничего не изменилось. Я поведал ей о розовых сумерках на севере Индии. О том, как в меня стреляли из карабина на границе Мали и Мавритании. Закаты. Северные сияния. Пурпур. Рассказы о таких вещах, равно как и истории об опасностях, которых вам удалось избежать, всегда волновали девиц. Попадали, так сказать, в точку. Потом я брякнул какую-то пошлость, и на лице у Савако появилось выражение человека, грубо возвращенного в травмирующую его действительность. Я излагал ей все это, стараясь произвести впечатление, но и особо не выпендриваясь. Я не уверен, что вы поймете. Я описывал ей розовый цвет сумерек на краю пустыни: «Этот цвет похож на цвет губ новорожденного. А ты можешь представить, как начинается пустыня? Ну, ты, конечно, видела в кино и на фотографиях песчаные дюны, насколько хватает глаз... Но вот, как ты думаешь, она начинается понастоящему? Ведь у пустыни нет четкой границы, как у океана, вот так, хоп — и пустыня! Вообразить это несложно: сначала мало-помалу исчезают зелень, деревья, растения на улицах и в городских садах. Потом начинаются скалы. Скалы повсюду, каменный пейзаж, изломанные линии холмов и гор, которые возвышаются, чтобы потом уступить место... почве, земле. Ну а дальше — песок. И вот как раз в тот момент, когда ты вдруг понимаешь, что, кроме песка, здесь больше нет ни чего, именно тогда и осознаешь, как далеко ты уже в пустыне. Кто-то сказал... Кто же? По-моему, Поль Низан... «В пустыне нет ничего, и именно поэтому человек может там найти самого себя».

Короче, все-таки кто-то сказал такую вещь. Я видел пустыню с вершины горы, недалеко от деревни: она напоминала песчаное море. Розовый цвет затмевал все остальные, казалось, он был единственным. Конечно, даже у нас, в Сетагайя, во время заката небо приобретает похожий цвет, но он гораздо бледнее. Цвет вечерней пустыни очень насыщенный, более теплый и в то же время неуловимый. Словно губы новорожденного... Или — еще лучше — словно язычок новорожденного. И цвет этот зыбок, как морская волна. Дальше, дальше, в бесконечность. И знаешь, о чем я подумал? Как может человек найти себя в подобном месте? Ты просто потеряешься в розовом закате...» Вот такую речь я произнес перед Савако. Ее коктейль назывался «Сайд-Кар», а такая штука сносит башню напрочь. Ее взгляд становился все более тревожным, можно было подумать, либо она уже успокаивается или, наоборот, вот-вот начнет реветь. Савако подняла на меня влажные глаза. «Язычок новорожденного», — пробормотала она и тут же попросила отвести ее в такое место, где мы смогли бы уединиться. Она произнесла это так, будто напевала слова из модного шлягера. Я направился с ней к себе на квартиру, что в квартале Аояма, которую я использовал как хранилище для привезенных раритетов. Там был всего лишь один диван, зато горой был навален всякий хлам, разнородные предметы, коврики, серебряные блюда, монеты, иконы, недорогие драгоценные камни, вещицы кустарного производства. Савако стащила свои джинсы прямо перед группой из семи-восьми огромных деревянных идолов, которых я привез из Сенегала. Оказавшаяся передо мной задница была еще более круглой, чем остальные части ее тела. В комнате было достаточно холодно, поскольку я ее не отапливал, дабы не испортить весь этот антиквариат. Савако покрылась гусиной кожей, ее молочно-белые мясистые ягодицы покрывал легкий пушок, а бедра были все в каких-то пятнах. Однако под влиянием выпитого холода она не чувствовала. Я прекрасно помню эту картину — дрожащий от возбуждения зад, мурashki на коже и черные идолы. Ну, разумеется, я также стянулся с себя штаны. «Нет, это невозможно», — вдруг заявила Савако, захлопав носом. Про

себя я подумал, что у нее просто есть свои правила. Но это оказалось не так — истинная причина была еще более идиотской. «Я не могу, — прибавила она. — Извини меня, Язаки, мне очень неудобно, но я не могу». «Почему я должен тебя извинять?» — спросил я. Я не имел ничего против мурашек, ни против белых круглых задниц. К тому же я успел достаточно сильно возбудиться... «Ах, прости, прости меня!» И она собралась уходить. А ведь сначала была согласна! А мне было чуть больше двадцати. И не было никакой причины просить у меня извинений. «Да что на тебя нашло, дурища?!» — думал я, чувствуя легкое раздражение, понятное любому, кто не сумел довести начатое до конца. Но гневной вспышки не воспоследовало, как будто во мне внезапно прорезалась какая-то сверхъестественная сила. «Так у тебя есть свои правила?» — спросил я у нее. Не притронувшись к одежде, сверкая голым задом, Савако медленно и задумчиво покачала головой. Это движение не было ответом на мой вопрос. Я не знал, что делать, надевать штаны или нет, чтобы не волновать, голозадую Савако. Интересно, не эти ли болванцы, что находились в пяти-шести сантиметрах от ее пухлой попы, парализовали мои умственные способности? Не эти ли деревяшки, расширяющиеся кверху и книзу, так растянули ее лицо? Местами они были покрыты рафии и какими-то веревочками. Их глаза, рты, носы были непомерно вытянуты, тем более что из-за бликов света темная поверхность дерева казалась липкой, словно смазанной жиром. Все это диковинным образом контрастировало с видом округлых, в мурашках, ягодиц Савако. Это было пошло и грубо. И никаких вам чувственных абстракций — одна сплошная непристойность, словно все постыдное, что она обычно таила в себе, вдруг вылезло на поверхность. Нет, вы представляете? И тут Савако заговорила, как была, голая. Вообще-то я не очень люблю выслушивать подобные истории. Я забыл название ее университета. Короче, она начала свой рассказ с одной неприятности, которая могла произойти только в провинциальном институте в начале семидесятых. Несколько раз повторила, что не может заниматься любовью. «Да уж знаю», — заметил я, поглаживая одного из идолов, похожего на огромный пенис. «У меня любовная история с одним человеком из моего университета. До сих пор». Любовная история! Она сказала «любовная история»!

Мои самые худшие опасения усилились. «У меня любовная история», — вот так прямо и врезала эта голозадая, дрожащая от холода экстеоретичка. «Он артист. Он раза в два, нет, скорее, в три раза старше меня. Но не надо думать, что я хочу видеть в нем образ моего отца. Как бы это объяснить? Это человек, который сумел отказаться от самого себя. Раньше он был скульптором-авангардистом, достаточно известным и признанным, и даже получавшим награды. Но у столичной творческой интеллигенции он вызывал ужас, поэтому лет тридцать тому назад он предпочел уехать в родную провинцию, отказавшись от творческой деятельности. Первый раз, когда мы познакомились, я почувствовала, что у меня подкашиваются ноги. Он был уже стар, но при этом излучал такой свет... ну, ты знаешь, ну как те революционеры, о которых ты рассказывал. Помнишь? Ты сам как-то говорил, что у революционеров такое выражение лиц, словно там смешались черты юности и старости. Так вот, у него то же самое. Я сразу вспомнила, как увидела его. Вначале мы много рассуждали о революции и герилье. Он говорил, что у него такое впечатление, будто бы он ведет свою собственную маленькую войну. По его словам, он должен был бороться с титанами, чтобы, решительно отойдя от норм, не эксплуатировать свое творчество». Нет, ну вы подумайте! Для начала, люди, которые действительно борются против кого-нибудь или чего-нибудь, не делают подобного рода заявлений. Вот о чем я думал в тот момент, но все-таки смолчал. Ничтожество, бездарная дрянь, трус, слинявший к себе в деревню и сыплющий теперь сентенциями. Да и с чего бы такому гению, способному отречься от творчества как средства выражения, прозябать на факультете истории искусств в провинциальном университете? Человек такой силы предпочел бы сделаться

садовником, крестьянином или охотником, что ли. Следовало, конечно, все это высказать ей, да я бы и высказал, если бы чувствовал себя получше. Но мне было холодно. Древние божки высосали всю мою энергию, а Савако действовала мне на нервы. «Ну и что должны означать все эти революции и герильи? Хочешь сказать, что ты всего-навсего бедная девочка, умирающая от печали! Настолько подавлена, что готова на все, лишь бы вырваться за пределы своего сознания. И то, что смогла найти только старого, замшелого пердуна, да вдобавок еще и бесполкового, чтобы найти утешение! И никого больше?! Несчастного, которого ты не бросишь, потому что боишься лишиться своего содержания! И это так, потому что ты слишком боишься подвергнуть себя опасности или риску потерять что-либо, ты никогда не бросишь этого старика, этого неудачника!» «Но через некоторое время после нашего знакомства он признался, что общение со мной прибавляет ему решимости для того, чтобы вернуться к творчеству. Язаки, дружок, да понимаешь ты, что я говорю? Человек, ничего не создавший за тридцать лет, вдруг говорит о своем желании снова начать работать! Меня как током ударило, когда я такое услышала. Я вся задрожала, точно!» Савако, — сказал он, — я еще не совсем готов к бронзе или камню. Сначала я должен сделать одну вещь, иначе я не смогу работать». Оказалось, он хотел посмотреть мою матку и постичь тайну Вселенной». Я не выдержал и рассмеялся: «Ха-ха-ха! Скажи мне, какая связь между твоей, пардон, маткой и Вселенной? И объясни-ка, каким образом можно посмотреть матку изнутри?» — «Он попросил раздвинуть бедра пошире и несколько раз на дню исследовал мою матку при помощи гинекологического зеркала. Он считает, что Вселенная и матка по своей сути являются одним и тем же. Именно поэтому я должна оставаться девственницей. Я не должна совокупляться с мужчиной, иначе матка потеряет сходство с Мирозданием».

Год спустя от своего старого товарища по лицо я узнал, что Савако покончила с собой. Между нами не было особой близости, я не спал с ней, но это настолько меня потрясло, что я слег почти на три месяца. Я знал правду. Эта девушка была некрасивой. Ведь я же не мог забыть ее толстую задницу. Но умереть! Может быть, в этом был виноват тот старый извращенец, хотя он в любом случае не сумел бы помешать ей... Таких, как Савако, легион, множество одиноких, печальных девушек. Они так боятся столкнуться с людьми, неспособными им помочь, потому что исходят в своих рассуждениях из неверных предпосылок. Они совершают самоубийства. На самом деле они не хотят умирать, но они мертвы задолго до этого. Какая все-таки дура! Но что поделаешь? То же произошло с Рейко. Ах какая дура! Знаю, ничего не изменишь. Это не глупость. Это просто вина всех остальных, всех из плоти и крови. Я прекрасно это знаю. Какая дура! Да и все вокруг дураки! Неправда, что все эти девицы глупы или что у них нет сил и возможности найти себе приятеля, с которым можно хороню поразвлечься... Нет, просто у них не хватает сил полюбить себя. Я ничего не знал о неврозе Савако. И в конце концов я ничего не понял в случае с Рейко. Просто у меня всегда была тяга к познанию. А самоубийство Джонсона не составило никакой загадки. Он элементарно поглотил зараз десятисуточную дозу анальгетиков на основе морфина. И при этом заявил, что, мол, хочет дать своему сердцу отдыkh. Он был уже в агонии, он сильно мучился, и никто не нашел, в чем его можно упрекнуть. Никто и не подумал, что он сделал глупость. Все были уверены, что он боролся до конца. Я так много рассказывал о Рейко одному только Джонсону. Я часто говорил ему, что не понимал проблем, связанных с нею, и поведения, которое из этого вытекало. Какой смысл был ей заводить шуры-муры с этим жалким мальчишкой? «Можно подумать, что в этом проявился ее дух противоречия, хотя, с другой стороны, это состояние настолько условно, — ответил, улыбнувшись, Джонсон. — Ты никогда не поймешь, чего она хотела. Многие живут, не зная, чего они хотят. А поскольку мы не знаем, чего желают другие, то нет такой уж необходимости спрашивать себя, почему та женщина ушла от тебя по причине, которую сама не могла понять.

И не нужно ломать из-за этого голову. Я не знаю, может ли служить средством для освобождения зарок больше не думать о проблеме или нет, ведь сам акт мышления представляет собой метафорический опыт. Это все равно что смотреть тысячу раз «Пятница, тринадцатое», и тем не менее каждый раз ты рискуешь снова испугаться...» Много чего объяснил мне Джонсон. Манера его объяснений, наверно, соответствовала моей личности. Эта своего рода терапия стоила для меня любого образования, и она позволила мне наконец противостоять всей скорби этого мира.

Едва Язаки произнес слово «скорбь», как на его лице появилось выражение глубокой печали. За все время своей бесконечной речи он прервался первый раз. Правда, он сделал это не для того, чтобы дать мне перевести дух, а для новой порции кокаина.

— Прошу простить меня, — сказал он, слегка встяхнув металлический футлярчик, откуда на мраморный стол высыпалось немного белого порошка.

Он осторожно разровнял его при помощи своей «Американ-Экспресс». Для него, наверно, не существовало более расслабляющего и успокоительного занятия. Никогда бы не подумала, что смогу испытать что-то вроде симпатии, следя за подобным действием. Хранение и употребление кокаина было, конечно, незаконным. Скорее это была дань моде. В моем окружении осталось очень мало людей, которые употребляли кокс или даже крэк. Те, кто еще продолжал колоться, утратили какое бы то ни было обаяние и по большей части были очень больными людьми. Они превратились в глубоко депрессивных и пошлых типов, которые считали, что для лучшего времяпрепровождения достаточно будет и кокаина. Или же это были люди, которым уже не удавалось скрыть тот факт, что они не смогли ничего добиться в своей жизни. Все это гнусно, в конце концов.

Язаки же ничуть на них не походил. В свое время, пять лет назад, по заданию своего университета мне пришлось провести шесть недель в одной деревеньке, среди потомков немецких эмигрантов. Я писала работу на тему «Нищета и бедность в сообществах национальных меньшинств». До сих пор удивляюсь, как я могла пробыть целых шесть недель в таком месте. Вспоминая то время, уверяю себя, что терпеть не могла ту деревню. И тем не менее я и мои товарищи были тогда очарованы этими полуграмотными потомками первых эмигрантов. Из той поездки я вынесла много горького опыта. Кровосмесительный брак был распространенным явлением, ни о какой системе образования не могло быть и речи — настоящее сообщество дегенератов, отгороженное от мира, замкнутое в самом себе. А изучать что-то в этой деревне! Ничего хорошего, даже в самой обычной, повседневной жизни. Солнце уходило за горную цепь, изломанные очертания пиков вырисовывались на темнеющем небе. Когда начинали сгущаться сумерки, мужчины располагались на полуразрушенных террасах и пили домашнее пиво. Женщины не имели права участвовать в некоем подобии невинного вечернего отдыха и довольствовались тем, что наливали пиво в терракотовые кувшины, когда те опустошались, или подносили мужчинам вяленое мясо и сухари. Как и мои сотрудники, я была свидетелем реальных примеров дедовских обычая в патриархальном обществе. Но все-таки мне нравилось наблюдать за мужчинами во время сумерек. Несомненно, мне это было позволено только потому, что я была японкой. Иногда я испытывала непонятное ностальгическое чувство. Эти люди не разговаривали между собой, не созерцали солнечный закат — они просто сидели и пили пиво с видом неизбывной грусти, которая пронизывала этот ритуал, повторяющийся бесконечно, при том что другого развлечения все равно не было. Я не могу найти более точных

слов, чтобы описать эту картину, но у меня сложилось впечатление, будто все, что окружало их, приходило с ними в гармонию.

Пока я вспоминала этих людей с Аппалачского плато, Язаки тем временем скатал в трубочку стодолларовую бумажку и втянул через нее белую полоску. Его щеки при этом запали, и я отчетливо увидела морщины на лбу и вокруг глаз. Щетина у рта покрылась тонким белым налетом.

— Чертовски длинную историю я вам тут рассказываю, — проговорил Язаки, и его глаза покраснели.

Он не выглядел ни встревоженным, ни пристыженным. Он больше не выказывал ни чрезмерной уверенности в себе, ни каких-либо сожалений. Я не знала, победитель он или же проигравший. Думаю, он и сам этого не знал. Возможно, что такое знание не представляло для него ни малейшего значения, было лишено какого-нибудь интереса.

Но одно я понимала точно. Я могла с уверенностью сказать, что в нем ощущалась гармоничная меланхолия или скорбь. И когда он произносил это слово, его лицо выражало такую невыносимую грусть, будто бы все, что он рассказывал мне до настоящего момента, служило единственной цели — привести рассказчика в такое состояние.

Стимулировать мысль, возбудиться, расслабиться... Люди употребляют алкоголь или наркотики с различными намерениями. Язаки делал это, чтобы стало заметным то, что я видела перед собой — сочетание его злопамятности и глубокой тоски, от чего он не отделался бы никогда. Вот что хотел сообщить мне этот человек.

Я вставила в диктофон новую кассету и включила на запись. Налитые кровью глаза Язаки внимательно следили за каждым движением моих пальцев вплоть до того момента, когда замигала контрольная лампочка. Я сделала пару глотков вина, спрашивая себя, почему же до сих пор не могу составить объективное суждение об этом человеке. Язаки взял бутылку и, как заправский официант, не произведя ни малейшего шума, очень спокойно подлил мне еще. «Верно, я не могу держаться от него на расстоянии», думала я, глядя, как тягучая красная жидкость заполняет стакан. Внутри себя я слышала два голоса. Два голоса с одинаковой интенсивностью. «Оставаться долго с этим человеком слишком опасно», — говорил один. «Вот подожди, сейчас он наконец начнет рассказывать про бездомных», — бубнил второй. Оба голоса говорили так, словно знали, что я не буду прерывать это интервью. «Ты собираешься переспать с ним?» Я ответила сама себе: «Нет». И нечего было ломать голову. Я могла быть уверена в том, что никогда не была неудачницей. То же самое и теперь. И именно поэтому я не стала держать дистанцию по отношению к Язаки.

У вас есть еще время? — спросил он, наполняя свой стакан. Я ответила:

Мне бы хотелось, если вы, конечно, не против, послушать еще немного.

Язаки усмехнулся. Я готова была поклясться, что он все еще издевается надо мной.

Вот я и попал! — произнес он и втянул еще одну полоску кокaina.

Пока он бормотал последнюю фразу, я отчетливо увидела нас с ним, сплетенных в объятиях. В этом не было ничего сексуального. Мы были одеты. Все это выглядело так, будто мы пытались уцепиться друг за друга, спасти друг друга. При этом мы оба молчали. Я не могла определить, кто кого из нас двоих пытался спасти. Кто хотел спастись? Бессмысленный вопрос. Ведь приветствие (если говорить о людях) может быть только взаимным. Прийти на помощь находящемуся в опасности в конечном счете означает отвести опасность и от себя. Я предчувствовала, что по отношению к Язаки все мои надежды и опасения в итоге не будут ничем отличаться друг от друга. И секс с ним уже не шел ни в какое сравнение. Все это предполагало такую опасность, от которой не скроешься даже на краю света.

Так о чём я говорил? Похоже, что Язаки действительно забыл.

Вы хотели рассказать мне о Джонсоне.

Ах да! Джонсон...

Джонсон. Язаки опустил голову и улыбнулся. В его улыбке таилась какая-то жестокость. Она, казалось, говорила: «Ну хорошо. И что же? То ли я расскажу о Джонсоне, то ли о комнибудь другом — не имеет никакого значения, так же как и то, что я расскажу вам о нем или же о другом человеке. Я мог бы рассказать о ком угодно, но это была бы та же самая история. И даже не обязательно, чтобы ее рассказывал я. Все это ветер, знаете ли. И вы это прекрасно понимаете — это всего лишь болтовня». Вот что означала его ухмылочка.

Она медленно сползла с лица Язаки, и он продолжил: — Джонсон говорил со мной о многом. А я, если вспомнить, спрашивал его только насчет Рейко. Кучу вопросов задал, и все о ней. Чаще всего мы беседовали в «Блю-Хаус», где собирались все бродяги. Ему разрешалось оставаться там на ночь, и я приходил поболтать с ним. Я и не вспомню, о чем болтал с другими бомжами, а вот о чем с Джонсоном — помню прекрасно. Он всегда изъяснялся очень просто, будто бы его фразы строились в соответствии с некоей таблицей. Его болезнь провоцировала и другие патологии, он не мог часто вставать. Помнится, он отлично понял, что я хотел ему сказать, когда я поведал ему о ревности-изжоге, о ревности, которую испытывал к Рейко и которая пожирала меня изнутри. Лицо его было покрыто опухолями, и когда он улыбался, его улыбка походила на гримасу. Он не стал отвечать прямо па мой вопрос, а сказал такую штуку: «Я должен умереть... На самом деле глупо, я ведь очень хотел съездить посмотреть на развалины ацтекских городов». Он повторил несколько раз «ацтеки, ацтеки» и все смотрел на меня. Как-то он рассказывал мне про эти самые развалины, это было где-то за месяц до его самоубийства, и мне стало его очень жаль, когда я подумал, что СПИД начал разрушать его нервную систему. Да что там! Любой мог подумать то же, услышав, как Джонсон вдруг заговорил об ацтеках! Это не то что бы уж очень из ряда вон выходящее, просто СПИД часто влечет за собой случаи слабоумия. Я часто сталкивался с этим феноменом, как правило, на последних стадиях болезни. Болезнь провоцирует такие расстройства, что вы рискуете в конце концов свихнуться. Страшно, да? Слабоумие... Проще говоря, это изменение личности — в итоге вы становитесь кем-то другим. Тогда я сразу же подумал, что у Джонсона АДС. Долго вспоминать, что это та кое... но вы-то лучше меня знаете английский... Aids Dementia Complex (слабоумие на почве вируса иммунодефицита) или что-то похожее. Ну вот, я — то думал, что Джонсон никогда не отмочит такую фишку, а он возьми и заведи эту волынку про ацтеков. Мне сразу стало худо. «Эй, Джо!» — заорал я, наклоняясь к нему поближе. Существует мнение, будто лицо у больного СПИДом, когда вы смотрите на него, рано или поздно начинает производить странное впечатление. Здесь был характерный случай. Сначала я совершенно не мог смотреть на него, это было невыносимо еще и потому, что я видел его лицо, когда он был в норме. Необходимость лицезреть его в таком состоянии только усиливало мою жалость, которую я инстинктивно испытывал к нему. Его терзали сильные боли, и от этого становилось чрезвычайно грустно. Смиренное лицо, выражавшее глубокую тоску, уже потеряло способность нормально реагировать на внешние раздражители, токсины, язвы, стимуляторы, удары, влажность, тепло. Оноказалось не просто морщинистым, словно иссущенным, а покрытым множеством кишащих существ, как в романах Стивена Кинга, прорывавших в коже борозды, отчего она начинала гнить. Его рот, нос, Глаза были ужасны. Поневоле начинаешь бояться, что лицо больного на последней стадии вот-вот расплзется, расплывется. Вот в таком состоянии

находился Джонсон. Однако это было лишь первое впечатление. Я испытывал безграничную грусть, глядя на того Джонсона, которого так уважал. Но достаточно было посидеть с ним немного, чтобы это первое впечатление прошло, тем более что никто, кроме меня, подобного и не ощущал. Я не имел возможности проверить это на других, да и не читал ничего по данному вопросу. Джонсон был в своем роде прекрасным примером — стоило только недолго посмотреть на его лицо, и первое впечатление менялось совершенно. Я не хочу сказать, что к этому привыкаешь, нет, это совсем не так. Некоторые болезни так действуют на состояние кожного покрова, что к такому ни за что не привыкнешь. То, что я пытаюсь вам объяснить, имеет нечто общее с каким-то подобием почтения. Почтение,уважение — чувство очень неоднозначное. Не знаю, можно ли выразиться яснее. Для меня это было нечто абсолютно новое, то есть для моего понимания вещей и людей. Я пока не могу выразить это словами, но у меня создалось впечатление, будто я видел тогда лицо нового человека. Я понял, что передо мной человек в своем развитии. И жалость моя тотчас же исчезла, как ранее исчезло отвращение. За свои сорок лет я видел немало людей, самых разных больных, джанки и психопатов, которые по большей части производят впечатление дегенератов, но я никогда не встречал человека в развитии, как Джонсон. И, как я понял, это неразрывно связано со СПИДом. Не знаю почему, но мне кажется, что это явление свойственно только больным СПИДом. Это даже изменило мое представление о прогрессе! Люди представляют себе прогресс очень позитивным и красивым. Это новая, тонкая и мягкая кожа, как после линьки, с гладкой поверхностью, словно у свежего, только что снесенного яйца или еще мягкого панциря моллюска. А у меня такие представления были достаточно расплывчаты, но, глядя на Джонсона, я многое понял. Процесс развития невыносимо уродлив. Я часто думал, не проявляется ли это уродство в результате реакции с внешней средой, из-за чего данный процесс больше смахивает на дегенерацию? Мне показалось: вот здорово, если Джонсон действительно находится в таком состоянии.

Я наклонился к нему и позвал: «Эй! Джо-о... Ты узнаешь меня?» Он ответил очень серьезно: «Ты — мистер Язаки», и я успокоился. Уж не знаю отчего, но вскоре после знакомства Джонсон стал называть меня мистер Язаки. Он никогда не обращался ко мне просто по имени. Ну, тут я понял, что у него нет комплекса АДС. Все-таки мне было немного странно — почему он вдруг заговорил об ацтеках? Но теперь Джонсон стал разглагольствовать о ламах. «Мистер Язаки, а ты знаешь, что в Мексике нет лам? Ламы питаются только теми растениями, которые употребляет в пищу человек. Ламы не дуры поесть. Поэтому-то они и не водятся на высокогорных плато Мексики, откуда пришли в свое время ацтеки, евшие человеческое мясо, чтобы регулярно восполнять недостаток протеинов. Майя, как и ацтеки, также практиковали ритуалы с принесением человеческих жертв своим богам. У ацтеков эти ритуалы приобрели особую форму. Конечно, некоторые исследователи подвергают сомнению такое утверждение. Но я уверен, что духу обязательно присущее нечто физическое. Например, в чувстве страха есть физический элемент. Я не стану говорить тебе о беге трусцой или аэробике, это не имеет никакого отношения к нашему вопросу. Я на все сто согласен с утверждением, в соответствии с которым считается, что недостаток животных белков был причиной расцвета такого людоедского рая, каким была империя ацтеков. Главным образом в пищу шли захваченные на войне пленные. Есть мнение, что ацтеки развязывали войны специально для этой цели. Они берегли своих пленников, те из них, кто был обречен на пытки, могли общаться с женщинами и не испытывали недостатка в еде. Кого-то бичевали, жгли тлеющими головнями, кому-то рубили руки или ноги, но, как бы там ни было, я полагаю, что все это имело единственную цель — установить некоторую связь между пленными и теми, кто принадлежал к воинскому сословию. Ныло бы немыслимо просто убивать их. Нужно было прежде всего придать этому какой-то

смысл, отношение. Утром, перед началом церемонии, пока с пленниками еще не было покончено, их подвергали пытке. В разумных пределах и, конечно, никаких унижений. Будущая жертва, которой было суждено стать пищей, должна была обязательно сохранить в неприкосновенности свою честь. Человека заставляли встать, потом ему ломали кости, начиная с пальцев, дальше ломали лучевые кости, потом руки и ноги. Ацтеки очень любили звук, с которым переламывались человеческие кости, — поэтому вопрос, может ли человеческое существо испытывать удовольствие от вида мучений ему подобного, отпадает. Переломав все кости, пленника били горячей палкой, пока на теле не появлялись ожоги. Естественно, несчастный мало-помалу терял силы. И тогда наступал момент, когда его тащили к пирамиде. В глаза, нос, рот и уши ему втыкали тлеющую головню, а напоследок и в зад. Жертва при этом должна была оставаться живой. Его хватали за волосы и поднимали на вершину пирамиды, где он умерщвлялся и разделялся для последующего съедения. Меня всегда удивляло, как они умудрялись воткнуть в него головню? Послушай, ведь человек не мог держаться прямо, правда? Непонятно, как им удавалось вставить эту штуку ему в жопу? Тот, кто вставлял, должен был поставить его на ноги или заставить ползти, а в то время второй раздвигал ему ягодицы, чтобы первый мог видеть анус. Существовало взаимодействие, и взаимодействие, я бы сказал, отработанное! Я думаю, что в развалинах ацтекских городов еще можно увидеть целые башни, сложенные из черепов и костей тех парней, которых сажали на кол, а затем съедали. Ты представляешь? Не думаешь, что кому-нибудь может захотеться посмотреть на это? Вот я, например, очень хочу...» И тут я неожиданно понял, почему Джонсон заговорил про ацтеков, тогда как я вел речь о ревности...

Говорить о ревности как о сжигающем вас изнутри пожаре глупо. Это упрощенчество. Чтобы избавиться от этой весьма дурной привычки, сравните ревность с конкретным примером — ацтеками, со страданием, которое должны были испытывать приносимые в жертву пленники, с тлеющей головней, которую вставляли им в зад. Вот тогда вы представите себе, что такое настоящая боль, прежде чем осмелитесь утверждать, что ревность — это какой-то там внутренний пожар, и покончите навсегда с этим вопросом. Именно так я понял слова Джонсона. «Да, я все понял, что ты сказал, и спасибо тебе за это», — проговорил я. И принялся рассказывать ему о евреях и нацистах. «Джонсон, мне тоже есть что сказать на эту тему, поэтому-то я и понимаю тебя. Я всегда вспоминаю длинный, бесконечный ряд отхожих мест, как это показал Ален Рене в «Ночи и Тумане». Тебе это покажется странным, но я очень люблю фильмы Алена Рене, особенно документальные. Больше всего мне нравится «Герника», которую я смотрел раз десять, и «Ночь и Туман», ее я смотрел более тридцати раз. В «Ночи и Тумане» самая ужасная сцена не та, где газовые камеры, а сотни сортирных отверстий, вытянутых в ряд, не имеющих ни малейших перегородок, все на виду. Эти примитивные нужники — просто дыры, грубо вырезанные в деревянной доске и располагающиеся на некоем достаточно высоком помосте. Люди должны были взбираться на это сооружение, что бы справить свою нужду. Устройство облегчало наблюдение за заключенными. Для меня нет ничего более страшного, чем такое вот. Нужники Аушвица стали преследовать меня, как только я на чал страдать от ревности к Рейко. И как только чувствовал новый приступ, я заставлял себя вспомнить эти сортирные дыры, тех людей, у которых не оставалось выбора, я заставлял себя вспомнить это, уверяя, что все остальное чепуха. Вот почему, Джо, я отлично понял, что ты хотел мне сказать». Джонсон слушал меня и качал головой. Грустная улыбка появилась у него на губах. «Это не

так, — произнес он, — ничего-то ты не понял. Смысл моей истории про ацтеков совершенно иной. Узники Аушвица познали страдание, которое гораздо больше, чем просто слово, и то же самое, вероятно, можно сказать о человеческих жертвах ацтеков. Но эти страдания абсолютно несопоставимы с нашими. И с твоими, и с моими. Можешь, конечно, попробовать представить, но их нельзя сравнивать. И ты способен это понять, потому что ты не дурак. И если ты сравниваешь свои страдания, на которые обрекла тебя твоя женщина, с их, ты совершаешь сделку с совестью. Твоя ревность, такая ощутимая, такая реальная, не имеет ничего общего с твоими представлениями об Аушвице». Я почувствовал, что краснею от стыда. Мне было действительно стыдно. Джонсон надолго замолчал. Мне показалось, что он хотел бы сказать что-то еще и обдумывает это. Он всегда говорил очень внятно, заботясь о том, чтобы найти нужные слова. Но я ошибся. Он все молчал, закрыв глаза. На самом деле он боролся с приступом страшной боли. Кажется, мало кто имеет представление о страданиях, переносимых больными СПИДом в конечной стадии. По выражению самого Джонсона, можно было бы сказать, что его страдание сделалось подобным кристаллу в момент его растворения. Да, так оно и было. Когда боль прошла, Джонсон заговорил снова. «И тем не менее все очень просто, — сказал он. — Я вспомнил про ацтеков по другому поводу. Я лишь хотел показать тебе разницу между муками от ревности и физической болью. Все действия, которые происходят в этом мире, определяются совокупностью информации, которой обладает человек, и совокупностью желаний, которые заставляют этого человека передавать информацию, что он накопил, своему визави. Я болен и не могу отправиться к ацтекам. Ты борешься с ревностью. Твоя борьба, может быть, более болезненна, чем моя. Я ничего не знаю об этом. И все-таки в один прекрасный день у тебя обязательно появится возможность сменить свою боль на острое желание передать кому-нибудь эту сумму информации. Может быть, из этого выйдет комедия: ты запишешься в какую-нибудь группу добровольцев, или поступишь на работу в рекламное агентство, или воспылаешь религиозными чувствами. Словом, что-нибудь в этом духе, я не знаю. Но это случится, ибо речь идет о тебе, и ты — человек. Только ты можешь оценить тот объем информации, которой обладаешь. И именно в этом я тебе завидую. Для меня такое уже невозможно, абсолютно исключено». Так говорил Джонсон, пытаясь подавить охватившую его боль, а и в ту минуту испытал чувство освобождения. Я все повторял «О'кей, о'кей. Все в порядке, я понял...» Как легко говорить «я понял». Неожиданно мне показалось — первый раз в жизни, — что мой двойник повис под самым потолком этой комнаты, что это мой двойник, воняя потом и мочой, смотрел сейчас на нас с Джонсоном. Один из нас умирал, другой получал жизнь обратно... Мы были в одинаковом положении. Даже инопланетяне, если бы они наблюдали тогда за нами, поняли бы, что мы находились в одинаковом положении. Я постиг, что вот-вот могу умереть. То же самое чувствовал и Джонсон. У нас не осталось желания бороться. Таков был результат, мне он казался фантастическим. Джонсон повернулся ко мне лицом и улыбнулся. Я улыбнулся ему в ответ. «Смог ли я донести до тебя все, что хотел?» — спрашивала его улыбка. «Разумеется. Я понял все, что ты хотел сказать!» Четыре дня спустя Джонсон умер, и я решил завязать с бродяжничеством.

Язаки умолк и посмотрел на меня. Он допил одним глотком остатки вина в своем стакане и налил еще. Глядя на то, как он пил я вспомнила одну вещь, которую как-то вычитала в журнале на борту «конкорда», а может быть, кто-то просто сказал мне об этом Короче, речь шла о том, что вина и шампанское, что подаются на рейсах «конкорда», гораздо более высокого качества,

чем на рейсах других авиакомпаний. Мало того, обычно вино подается в бокалах на ножке, тогда как на «конкорде» его разливают в обычные стаканы. Едва я задумалась об этом, как на меня снова накатили видения. На этот раз это был самолет. Я видела себя в салоне, картина отпечаталась на моей сетчатке настолько четко, словно я смотрела кино. Самое удивительное, что напротив меня находился Язаки, и мы собирались выпить по бокалу шампанского, которое обычно подают, когда вы поднимаетесь на борт. Передо мной стояла улыбающаяся стюардесса с матовой кожей, она говорила по-испански. Самолет принадлежал мексиканским авиалиниям. Я попыталась прийти в себя — да о чем ты, черт побери, все думаешь! — но было уже поздно. Язаки и я летели в Мексику, в сторону полуострова Юкатан. На мне было летнее платье из каннабиса, на ногах кожаные сандалии на пробковой подошве. На Язаки — шелковая рубашка с закатанными рукавами, хлопчатобумажные шорты, кремовые полуботинки. Мы летим к ацтекам. «Вы первый раз летите в Канкун?» — спрашивает меня Язаки, глядя поверх черных очков. «Да, конечно», — отвечаю я. Да что же со мной творится? Я возбуждена, словно школьница на экскурсии. Мне кажется, что отныне мне наплевать на всех — отца, мать, друзей... Но почему в Канкун? Это ведь Джонсон хотел посмотреть на индейские города? Я проливаю шампанское, оно оставляет небольшое пятнышко на моем желтом платье, и чувствую, как краснею. Я принимаюсь лихорадочно тереть пятно влажной салфеткой, и жидкость холодит мое бедро. Язаки смотрит на меня. «Ты не забыла, о чем рассказывал Джонсон?» — говорит его взгляд. Горящая головня! То, что вставляли пленникам в зад. Почему я вся мокрая? Высокие башни из черепов казненных кажутся колышущимися на ветру. «Не обольщайся насчет Канкуна!» Голос Язаки нежен и мягок. Язаки смакует свой бокал шампанского, и я вижу, как напрягается его горло, пропуская жидкость внутрь. Я впервые слышу, чтобы он говорил со мной таким голосом. Ощущения — ну прямо курорт. Вот только еда не особенно хороша. Я мокну все больше и больше, хотя до меня никто даже не дотрагивается. Это меня очень беспокоит. Я чувствую, как затекает на бедра, просачивается на кожу. Но что же могло так возбудить меня? Я всего лишь подумала о «конкорде»... А до этого Язаки рассказывал про Джонсона, и я следила за ним, как он пьет «Шато Мутон». Вот и все... И ведь ничего больше не происходило! Честное слово, я и не думала о том, что хотела бы переспать с Язаки. Мои желания всегда просты. Дело не в том, что у меня никогда раньше не случалось такого внезапного сексуального возбуждения, но я никогда не обмачивалась так сильно...

Я принялась судорожно озираться по сторонам, но это ни к чему не привело. Я и так уже прекрасно изучила всю обстановку, однако другого ничего не оставалось. В конце концов мне в руки попался стакан. Я изо всех сил старалась напустить на себя не принужденный вид, что-то вроде «спасибо-что-ответили-на-мои-вопросы-но-мнекажется-уже-пора». И в сотый, наверно, раз стала рассматривать эту комнату. Квартира люкс-класса, таких много в этом районе. Мраморный столик, кожаное, возможно итальянское, кресло, рассеянное освещение... Так, минуточку! А не подсыпал ли Язаки мне в вино какого-нибудь наркотика? От меня уже начал исходить характерный запах. Причем сильный. Ни один мужчина не довел бы меня до размышлений на подобную тему, правда, это не означает, что я так уж чрезмерно чувствительна к собственному запаху, но все мужчины, с которыми я общалась до сего момента, были настоящими джентльменами Ацтеки! А что по этому поводу? Тебя так возбудила история про пленника, которого сажают на горячую головню? Ну, я уж не такая невинная и неприступная. Но почему же с того самого момента, как я увидела нас с Язаки сидящими в мексиканском самолете, я не могу отделаться от этой картины? Я совершенно не способна изгнать это видение... «Действительно, этот берег, застроенный отелями, самый красивый в мире, как утверждают местные жители». Я сижу в кресле люкс-класса компании «Мексикана» и говорю это Язаки. Он совсем не надушен, я ощущаю только его собственный запах. Язаки усадил меня у

самого иллюминатора, чтобы я имела возможность любоваться пейзажем. Мое место «ЗА», Язаки сидит напротив, в кресле «ЗС». Я уже успела полюбить аромат его тела. Правда, он все время перебивается амбре, которое испускают подмышки стюардессы, той самой, с матовой кожей. Она то и дело проходит по рядам. Но вот она исчезает, и до Канкуна я больше ее не вижу. «Действительно прелестные пляжи». Но мне интересно, с чем их могут сравнить местные жители, чтобы утверждать, что их пляжи самые лучшие. «Да уж, я не думаю, что кто-нибудь из них бывал на Таити, в Каннах, Мауи, Цебу или на Мальдивах», — произносит, улыбаясь, Язаки...

Он не произнес ни слова с того момента, как сказал, что решил завязать с бродяжничеством. Он все молчал, продолжая рассматривать меня при этом. До кокаина он больше не дотронулся, только спокойно потягивал вино. На бутылочной этикетке я заметила рисунок Шагала. Я все еще была мокрая. Подо мной, наверно, скоро должно было захлюпать. Разглядывая этикетку с рисунком, и ощущала некий холодок в районе ягодиц. Индикатор моего диктофона мигал, словно передавал мне секретный сигнал, говоривший, что я сбрендившая нимфоманка. Чувствовал ли Язаки мой запах? Он должен был знать запахи более сотни женщин. Но его лицо оставалось непроницаемым. Часы показывали, что прошло всего сорок секунд...

Язаки поставил стакан и спросил:

Неплохо получилось внушение? Я кивнула, даже не понимая, о чем он говорит.

Общаюсь с Джонсоном, я как-то спросил его про этот наркотик. Не помню, что он мне ответил, кажется, что его не существует, но я, будучи в невменяемом состоянии, бредил о нем. А ты ничего о нем не слышала? Да о чем вы? — простонала я, наклоняясь вперед и сжимая что было сил колени. Из меня уже лилось как из ведра, я больше не могла сдерживаться.

Есть такой препарат, по своему действию схожий с героином, но помягче. Чистая химия. Обычно его выпускают в желатиновых капсулах. Действует в течение тридцати-сорока минут после приема. В самом начале возникает стойкое желание, которое впоследствии усиливается.

Это не экстази? Он похож на экстази, но не совсем. Если бы я захотел их сравнить, мне пришлось бы принять сразу тысячу таблеток экстази. Но действие этого наркотика другое, просто я не могу объяснить нам, чем оно отличается. Когда оно наступает, объяснить очень легко, но оно не существует в объективной действительности. Я не могу выразиться иначе.

Эффект как у травы? Успокаивающий? Не знаю. Вы ведь не принимали героин? Я покачала головой.

Героин возбуждает мазохистское влечение и обостряет наслаждение, которое доставляет представление себя объектом. А эта штука производит сходный эффект, но не заставляет человека чувствовать себя объектом. Женщина, приняв герогин, мгновенно возбуждается, тогда как у мужчины он убивает всякое желание. Здесь же мужчина сохраняет свое либидо... Ах да! Обострение полового влечения сопровождается желанием умереть.

Стремление к суициду? Опять же не знаю. Есть стремление к смерти, и все. Может быть, кто-то от этого действительно умирает. Вообще здесь какое то противоречие: желание смерти и в то же время неудержимое стремление трахаться. Трудно представить такое, вам не кажется?

Даже выйдя от Язаки, я никак не могла забыть, что ему ответила. Я не могла убедить себя в том, что такое действительно сказала.

Я оказалась на улице. Было уже темно. Я слишком засиделась у него, там, в квартире,

которая больше походила на жилище, нежели на офис. При этом она казалась какой-то необитаемой Я решила не брать сразу такси, а немного пройтись. Время было зреющим: сотни туристов вытягивали руки или свистели сквозь пальцы, ловя свободные машины, сновавшие по Аптауну. Но у меня больше не было сил для подобных выкрутасов.

Я постаралась поскорее убраться из этих мест — этот район подавлял меня, особенно если учесть мое состояние. Хотя по здравому размышлению, я не так чтобы часто здесь бывала за все время, что провела в Нью-Йорке...

Где вы живете? — спросил меня Язаки. Его нос был весь в белой пыли, он только что втянул в себя очень большую дозу кокаина, приложив к этому такое старание, какое делали, вероятно, еще в восьмидесятых годах. Я выключила диктофон и стала собираться.

В Даунтауне. Знаете Греймерси-парк? Я живу в нескольких кварталах оттуда.

Язаки насыпал на стол еще кокаина и взялся за свою кредитку

— Не знаю почему, но я не очень люблю Даунтаун. Хотя прожил восемь месяцев в квартале Бауэри! Но все равно не люблю. Да к тому же это очень опасное место. Первый раз я приехал в Нью-Йорк году в семьдесят шестом... Ну да, тогда еще отмечали двухсотлетие со дня образования Соединенных Штатов. В те времена я часто ездил в Восточную Европу и нашел, что Нью-Йорк действительно грязный город, как Будапешт или Прага. И эта грязь ассоциировалась у меня с Даунтауном. Вообще я никогда не побил гулять, бродить по улицам, причем не важно где — в Париже, Варшаве или в Кокуре. Тогда, в первый раз, я остановился в гостинице на Уолл-стрит. Мне приходилось много раз бывать в Даунтауне: сейчас я уже кое-что подзабыл, но помню, что посещал клуб «Макс Канзас Сити», где выступали рок-группы с такими названиями, что... Короче, так себе местечко, ничего особенного. На самом деле в этот клуб ходила одна девчонка, которая мне очень нравилась. Совсем забыл адрес... оглушительная музыка... В Нью-Йорке в семьдесят шестом не знали, что такое СПИД, и город еще не успел впасть в этот идиотский куль здорового образа жизни. Благословенные времена! Некоторые говорили, что раньше, в шестидесятых, мол, было еще лучше. Да, много чего хорошего было тогда. Ну, про шестидесятые ничего не могу сказать, а нот я видел, как расписывали женские тела розовым и фиолетовым, да под индийскую музыку, и еще курился фи... мифи... фимиам, во! Я тусовался каждый вечер в «Макс Канзас Сити». До сих пор не понимаю, что там могло мне нравиться, но я приходил туда каждый вечер. Честное слово! Там постоянно проходили рок-концерты, и это вонючее американское пиво, дешевый бурбон, несколько косяков с марихуаной и таблетки спид... Верное средство заработать себе головную боль. Я-то был покрепче, и на меня не так сильно действовала эта дрянь, но у некоторых ребят напрочь съезжала крыша, и они гадили прямо на ограждения, которых потом ставили все больше. Но я не люблю Даунтаун не из-за мордобои и ссак, а из-за убийств. Я дважды был свидетелем убийства. И каждый раз в «Канзас Сити».

Как-то я торчал там с белой девчонкой, любительницей рок-н-ролла двадцати четырех лет. Вдруг слышу: выстрелы! Такой сухой треск, очень хорошо слышно: баах! баах! Такие звуки издает неисправный глушитель. «Что такое?» — спрашиваю. «Вроде бы стреляют», — отвечает девица. У нее были густые брови и большая грудь. Сама — из Южной Каролины... Я было засомневался, но мы все-таки вышли наружу. Не знаю отчего, но мне стало страшно. Наверно, из-за того, что слишком сильно успел набраться. Короче мне было интересно, ну, не то чтобы интересно, а просто хотелось посмотреть, что там такое. Да, все два раза убийства происходили на рассвете, очень рано, хотя, возможно, я путаю. Ну, во всяком случае, у меня есть только одно воспоминание подобного рода. Сиреневые отблески, ночь бледнеет — это был «Магический час». Небо светлело, но шоссе еще тонуло в темноте, проступали линии, очертания ближайших домов. Да, именно «Магический час», как его называют в кино. На шоссе лежал чернокожий.

Если честно, то это был первый раз, когда я увидел настоящего мертвеца. Конечно, я не беру в расчет похороны. Кстати, во время похорон тело убирают цветами, что придает церемонии особый оттенок. Как бы это сказать... ну, воображаешь, будто имеешь дело с куклой, манекеном. Ну вот, а тогда я впервые в жизни увидел настоящий труп. Да еще того самого парня, который только что вышел из клуба. Тело чуть подрагивало в агонии, почти незаметной. Жизнь покидала его, как откатывающиеся волны, медленно, неуловимо. Потом он затих совершенно, и в тот же момент взошло солнце. Перед нами стоял старик, он пробормотал какие-то слова, которых я не смог разобрать, осенил себя крестом и произнес: «Он умер». Становилось все светлее, а я не мог оторвать взгляда от убитого, глаза которого остались открыты, и в них отражалась утренняя заря. Кровь еще текла из ран на груди и животе, заливая продырявленную белую рубашку. На асфальте кровь казалась совсем черной... Может это из-за шока, но я не испытывал никакого отвращения. Скорее мне все это казалось чем-то возвышенным, к тому же я был пьян и курил траву. Даунтаун на первом месте по количеству насильственных смертей. Я бы не вынес, если бы кто-нибудь смотрел на мою смерть такими же глазами, как я тогда... Н-да, неплохо я за вернулся! Спишите это на логику кокаиниста — она всегда непредсказуема. Впрочем, вы поняли, почему я не люблю Даунтаун.

Я прошла немного по Пятой авеню и села в метро, чтобы доехать до Даунтауна. В эспрессобаре, что рядом со станцией, я заказала ореховое пирожное и капуччино. Потягивая темную жидкость, обжигавшую мне язык, я пыталась вызвать в памяти образ Язаки, но безрезультатно. Домой ехать не хотелось. Тогда я стала вспоминать лица и имена моих друзей и попыталась представить их комментарии по поводу Язаки. «Мичико, я прекрасно понимаю, что тебя привлекает в этом человеке. Я думаю, что общение с ним восполняет в тебе нечто утраченное, то, что ты хотела бы обрести снова. Ты словно столкнулась нос к носу с каким-то очень редким животным, да еще находящимся на грани вымирания». Вот что скорее всего сказал бы мне Билл, независимый нью-йоркский продюсер из семьи немецких евреев. Нам обоим было по двадцать девять лет. Это был блестящий юноша с интеллигентным и благородным лицом человека, единодушно признанного в своей профессии и проводящего почти все свое время за компьютером. Многочисленные фильмы, которые он продюсировал, получали призы на различных фестивалях. Он был способен потратить десять тысяч долларов на программное обеспечение для своего CD-rom'a. Билл жил в небольшом пентхаусе, в четырнадцатом корпусе, элегантно водил спортивный автомобиль, знал толк в легких наркотиках, увлекался азартными играми, играл на бегах, любил Джеймса Джойса, ирландский виски и не был геем. Я обожала общаться с этим джентльменом, разговоры с ним стимулировали мой ум. Не так давно я спала с ним — раз семь. Я даже испытывала оргазм, но в какой-то момент это само собой закончилось. Нет, дело не в каких-то проблемах или недоразумениях, просто мы отдалились друг от друга, так сказать, интеллектуально. Это произошло однажды ночью, мы перестали заниматься любовью, а потом, когда встречались, не оставались друг у друга и разъезжались по домам. У меня наметился новый приятель, он тоже нашел другую женщину. Мы уже не были подростками и умели отличать работу от развлечений. Я хорошо знала механику любви и понимала, что, как только в ней появляется место уважению, секс отступает на второе место... С Биллом я могла говорить откровенно. Он был интеллектуалом, его дед, старый эмигрант, — очень состоятельный человеком. Дед был единственным, кому удалось бежать из Дахау, сначала он перебрался в Испанию, а оттуда пересек Атлантику и укрылся в США...

Мне показалось, что я слышу Билла: «Мичико, я пытаюсь понять, что ты могла найти в этом человеке. На мой взгляд, возможно, потому, что он японец, как и ты. Да нет, я не критикую тебя за это! В нем есть что-то, чего тебе недостает. Слушай, странная вещь: и отец и дед часто говорили, что было время, когда стоило им увидеть заурядного еврея, как они чувствовали сексуальное возбуждение! Это не было связано с примитивным отождествлением. Нет, как мне говорили, это был результат естественного процесса. Как самец находит самку? Или самка самца? Если смотреть на вещи под таким углом, то я бы сказал, что дело здесь в том культурном измерении, распространяющем в каждой языковой среде. Самый простой разговор — касаясь он кулинарии или интимных ласк — всегда содержит некоторые особенности. Ты разве так не думаешь, Мичико? В конце концов, этот человек всего-навсего обострил твою тоску по родному языку, по-моему, это ясно как день. Прости, пожалуйста, я и не думал иронизировать. Я не в состоянии представить себе, что значит быть японцем, поэтому мне лучше выразиться иначе: конечно, ты полагаешь, что сможешь почерпнуть что-нибудь важное от общения с этим японцем, таким настоящим для тебя, вся жизнь которого похожа на приключенческий роман. Это начало любви. Нет, я говорю совершенно серьезно. Ясное дело, я против этого. И причина моего неприятия не такая простая, как кажется. Просто никто не имеет оснований влиять и играть с нашими глубинными желаниями. Я против вашей связи и вправе дать тебе совет. Тебе надо его забыть как можно скорее. Это вполне возможно. Ты должна знать, Мичико, что все дело в том, что ты считаешь, будто тебе чего-то недостает и будто ты можешь восполнить эту нехватку чем-то реальным и подлинным, что дает тебе этот человек. Но дает-то тебе все это вовсе не он. И я полагаю, что ты это должна понять в первую очередь...» Наверно, так бы мы и беседовали с ним за бокалом вина. Я не смогла бы убедить его в обратном. Впрочем, это вряд ли принесло бы какую-то пользу. В этом я была уверена так же, как и в том, что голос Билла, который я слышала только что, был на самом деле производной от моих собственных мыслей. Все вокруг нагоняло на меня тоску (я не имею в виду свое душевное здоровье). Мой кофе совсем остыл, но и холодный капуччино можно пить. Это всего лишь темновато-бурая жидкость, похожая на грязевой поток в тропическом лесу, за тем исключением, что в кофейной чашке не найдешь ни вирусов, ни микробов, рыб, аллигаторов... Ладно. Вот в чем я точно уверена, так это в том, что на протяжении всего интервью с Язаки я не могла отделаться от мысли — мне не хочется возвращаться домой. Я чувствовала это все то время, пока сидела напротив него. А теперь поняла: все вокруг, и я сама в первую очередь, нагоняло скуку. Вот что мне стало ясно после разговора с Язаки: все вокруг, и во-первых я, стало похоже на эту чашку остывшего капуччино, который приготовил для меня итальянец, вложив в него искусство национальных традиций. И уж не говорю про Рим или Венецию, поскольку все это вздор и этот вздор меня раздражает... А Билл — почти само совершенство. Я говорю искренне: он знает четыре иностранных языка, общается с роллерами, играет во фрисби. Да все мои друзья такие же. Кутюрье, дизайнеры, фотографы, диджеи, биржевые брокеры, главные редакторы известных журналов. И это, разумеется, часть мировой элиты. Они знают, как разрушает человека токсикомания, знают, что такое посттравматический стресс или Стресс после развода, знают, какие страдания порождают расизм и общественное недовольство, и я их очень люблю, люблю от всей души, так же как люблю и Нью-Йорк. Я понимаю, что у каждого города есть свои недостатки, понимаю, что нельзя встречать на своем пути только идеальных людей, но все же я знаю, что и Нью-Йорк, и Билл, бесспорно, принадлежат к элите. Я говорю это вовсе не потому, что японка. И я также не хочу причинять себе вред. Белое вино, салат из артишоков, белый сыр, хлеб, варенье и фрукты, бег трусцой, спортивная ходьба, роллер-скейт, бассейн, бильярд, фрисби, мастерские художников, клубы, студии, американские единицы измерения, породы собак, пиринг и татуировка, марихуана, секс, кино и мода, диджеи, парки, овощные соки,

автоматические прачечные, пентхаусы — я вижу в них только искусство потребления и искусство растраты, я тоже соглашаюсь стареть, надеясь прожить подольше, но все они пусты, тоска оплетает их, но ничто не заставило бы их расплакаться. Это кокон, в котором они закуклились и ничего не делают, чтобы его разорвать. И я тоже часть этого. Одна из них. В этом сообществе национальная принадлежность не имеет ни малейшего значения Ох как меня все достало... Это Язаки научил меня так думать. Он не дает мне покоя.

— ... Джонсон хотел сказать, что сравнения бесполезны. Когда я стал сравнивать свою ревность с пламенем, пожирающим меня изнутри, он заговорил про ацтеков. Этот человек, умирающий от СПИДа, учил, что между ощущением как от ожога и реальным ожогом огромная разница. Это были последние слова, которые я слышал от него. Простая вещь, если подумать, но мало кто обращает на это внимание: невозможно сравнивать собственное положение и положение пленника, приговоренного к мучительной казни. Джонсон хотел заставить меня это понять. Я думаю, что его воображение ограничивала нестерпимая боль и он вообще плохо представлял себе истинную природу этой человеческой способности. В ближайшее время я собираюсь на Кубу и дня три четыре проведу в Мексике. Хочу взглянуть на эти самые башни из человеческих черепов. Это не сентиментальное путешествие, так как я не испытываю никаких особых чувств по отношению к Джонсону. Просто мне хочется сравнить свои впечатления от его рассказов с тем, что там на самом деле. И очень возможно, мне не удастся представить себе этих несчастных казненных, поскольку не смогу чувствовать то же, что и Джонсон, мне не надо бороться с ужасной болью, такой сильной, что из-за нее трудно провести границу между своим телом и окружающей действительностью. Да, по большому счету я и не создан для подобных путешествий, мне нужно что-нибудь вроде бассейна, шампанского, девушек в бикини, ресторана над морем, шоколадного мусса, десяти граммов кокаина — о да, вот это все мое! Тут уж ничего не поделаешь! Тем более благодаря Рейко мне удалось избежать ловушки, в которую я чуть было не попал. В конце концов, с Рейко окончился некий период в моей жизни. Я еще не нашел нужных слов, чтобы правильно выразить то, что это означает. Границу? Тогда прежде всего физическую, так как за некоторыми границами ваше тело теряет способность испытывать чувство наслаждения. Должно быть, я первый, кто додумался до такой штуки! Ангелоподобная Рейко всегда продолжает гнуть свое как ни в чем не бывало. Она актриса... Актриса. Ну и ладно. У меня нет особого желания уезжать, выбирать новое «направление». Ненавижу это слово, оно выражает прямо противоположное тому, что должно выражать. Я бы изъяснился несколько высокопарно: направление — это всего-навсего этап. До Кубы я был в Бразилии на карнавале. На карнавале в Рио, который превратился в нескончаемый аттракцион для туристов, где вы можете встретить самых отчаянных людей, что, впрочем, не имеет никакого значения. Ибо реальность заключается в самом прохождении танцоров и танцовщиц. Где они идут, куда они направляются — не в этом дело. Смысл карнавала в самом их движении, и именно это я и люблю. Куда двигался я сам? Я научился этому у Рейко. Если бы я умел передать это словами, думаю, смог бы справиться со своей меланхолией и освободиться от нее.

Окончив свою исповедь, Язаки внимательно посмотрел на меня. Его открытый взгляд выражал уверенность. Он спрашивал меня. Я сразу вспомнила мое первое впечатление при знакомстве. Этот человек сконцентрировал в своем взгляде всю страсть, на которую только был способен... Я уже собиралась выключить диктофон, как Язаки заговорил, не меняя выражения лица:

Могу ли я надеяться, что вы поедете со мной на Кубу? Как? Что вы говорите? Почему вы меня просите об этом? Нет, я ничего ему не ответила. Он предложил это совершенно

непринужденно, так, словно об этом должна мечтать каждая женщина. Я кивнула ему два раза, как будто бы решение было уже принято.

Самолет на Канкун вылетает рано утром.

Я дала ему номер моего телефона и быстро вышла из комнаты. Если бы меня спросили, как я сейчас оцениваю свое состояние, я бы ответила, что это похоже на пенку на поверхности остывшего кофе.

Каждое утро я прихожу на работу в офис на углу Пятой авеню и Бродвея. В агентстве числится десять человек, связанные главным образом с журналами, FM радиостанциями и японскими продюсерскими центрами, для которых они пишут статьи и поставляют разного рода информацию. Японцев в штате у нас только двое. Хозяина зовут Митчелл, он выпускник Колорадского университета, где изучал японскую литературу. Ему было двадцать пять, когда он начал свой бизнес. Сначала он поставлял для японских СМИ различную информацию о бродвейских театральных постановках, о независимом кино, рок-музыке, клубах, ресторанах и, разумеется, о проституции. Также он разработал множество проектов для туроператора в Токио, который отвечал за молодых американцев. Вскоре ему позволили нанять себе штат служащих. Он имел контакты с японскими кинокомпаниями и стал заниматься съемками коммерческих лент недалеко от Нью-Йорка, а также при помощи посредников работал с прибывшими в Нью-Йорк журналистами, фотографами и операторами. Американских газетчиков ОН снабжал информацией о Японии и японцах. Именно в этом агентстве мне предложили взять интервью у Язаки.

Я проводила здесь большую часть своего времени, примерно 1 девяти часов утра и до вечера.

Я поднимаюсь с постели в семь. Иногда бегаю в Греймерси-парке. Эту привычку я приобрела по совету одного моего знакомого медика, который рекомендовал занятия спортом вследствие пониженного артериального давления. Как оказалось, для достижения каких-нибудь результатов бегать нужно ежедневно. Вне зависимости от того, бегаю или нет, каждое утро я принимаю горячий душ и пью грэйпфрутовый сок, который покупаю в «Дели», что недалеко от дома. Пластиковая бутылка с соком прилетела самолетом прямо с юга Флориды. Я перебрасываюсь парой слов с продавцом-индийцем насчет ядерной энергетики или проблемы исчезновения лесов и отываю на работу. Обычно немалую часть пути я проделываю пешком, за исключением критических дней и плохой погоды. Хорошо шагать по улицам этого города. Я уверена, что большинство людей, работающих в деловой части Манхэттена, думает так же. Я никогда не работала в другом городе. Может быть, это и неверно, но, полагаю, что в Токио, Лондоне или Париже вряд ли испытываешь такое же удовольствие от прогулки. Вероятно, это ощущение рождается из-за какой-то особенной ненавязчивости городской среды, из-за почти детской поспешности и смешения самых разнообразных людей. Чтобы дойти до офиса, мне достаточно двадцати минут спокойным шагом. Все приходят сюда пешком и в первую очередь спешат выпить кофе или чай. В холодильнике есть также минералка, газировка и фрукты. После работы можно выпить и пива «Роллинг Рок» и «Сэмюэль Адамс». Так как раньше наш этаж занимало архитектурное бюро, стены и полы выкрашены в очень яркие тона — оранжевый и светло-серый. Здесь царит обстановка невообразимого бардака, что как-то не вяжется с представлением об организации, занимающейся такого рода деятельностью. Все это напоминает уменьшенный макет центра города с небоскребами из книг, документов, фотографий и разных бумаг, наползающих друг на друга, где иногда в чудом сохранившемся свободным уголке можно натолкнуться на человека, скрючившегося над своим ноутбуком.

В полдень мы с коллегами обедаем — в офис доставляются суши, лазанья или бутерброды с индейкой. Мой день проходит за написанием небольшой статьи, которая будет затем отослана в Японию, в переводах на английский кое-каких текстов из японских журналов и ежедневников или в планировании новой работы. Вечером, если я еду к себе, готовлю спагетти. Иногда, правда, приходится ужинать в ресторанах с сотрудниками или с моим бойфрендом...

Вот в чем заключалась вся моя жизнь, думала я. Я перепечатала интервью с Язаки в двух вариантах — английском и японском. Мне потребовалось десять дней, чтобы закончить дело, не считая других заданий, которые приходилось выполнять параллельно. Никогда бы не подумала, что это займет столько времени. Мне пришлось неоднократно переделывать текст, чтобы придать ему объективный характер. Я выделила то, что касалось отношений Язаки и Джонсона, исключила достаточно большой кусок, где Язаки рассказывал про своих женщин, Рейко и Кейко, и вставила несколько эпизодов, раскрывающих личность моего героя.

В тот день, когда Митчелл пригласил меня пообедать, шел дождь. Митч был на два года старше меня. Неделю назад я передала ему текст интервью, он взял себе английский вариант. Конечно, он умел читать и по-японски, а в некотором отношении его способности даже превосходили мои. Семеня под моросящим дождем в сторону ресторана ямайской кухни, который находился через дом от нас, я подумала, что Митч пригласил меня, так как его не удовлетворил мой репортаж, хотя я попыталась максимально отстраниться, желая возбудить читательский интерес, причем вполне понятный интерес к человеку, который сам, по своей воле, принял решение стать бездомным бродягой в Бауэри.

Митч заказал баранину с рисом и имбирное пиво.

Нет, конечно. Я считаю твою работу просто замечательной, — начал он.

Митч прекрасно говорит по-японски, и как только он заговорил по-английски, я сразу поняла, что он не будет ходить вокруг да около — японский язык не имеет точности, необходимой для серьезного разговора.

Неужели между вами что-то произошло? Последнее время ты стала такой странной. Нет, дело не в этом, ты отлично справляешься с работой. И с сотрудниками у тебя отношения в порядке. Ты не торчишь у окна в слезах, ты не похожа на человека, готового выплеснуть содержимое стакана в лицо собеседнику, нет-нет, я не думаю, что ты собираешься плясать обнаженной со свечой на голове, как в танцах вуду, также я не вижу, чтобы из тебя, как пакля из старого матраса, перла нимфомания, хотя, если бы это было так, я бы сейчас ничего не имел против!

Митч говорил с обычным своим чувством юмора, он так и сыпал метафорами. Он был наполовину русский, наполовину итальянец. Он много жестикулировал, не забывая, впрочем, отправлять в рот куски мяса. Он обладал искусством говорить и есть одновременно, которое постоянно совершенствовал, назначая деловые свидания на время обеда. Его собеседник никогда не скучал за столом — латинская и русская кровь! Что это такое, я поняла, когда преподавала детям эмигрантов. Техника речи у них достигалась ценой громадных усилий. Я знаю, сколько раз им приходи лось преодолевать всевозможные трудности, и это все независимо от их происхождения, личных особенностей и социального статуса. Искусство речи для них необходимо. Митч изъяснялся, стараясь не задеть меня, очень внимательно следя за моей реакцией, при этом постоянно улыбаясь. Японца такая манера речи заставила бы расходовать слишком много энергии, но у Митча это был результат упорного труда. Такая техника превратилась в конце концов в его вторую натурму.

— Тем не менее, Мичико, я прошу, не относись серьезно к тому, что я хочу тебе сказать, в тебе есть что-то странное, и эту странность, я замечаю, ты пытаешься скрыть. Ты пытаешься скрыть это не только от нас, но и от самой себя. И при этом тратишь очень много сил. Видишь

ли, это началось вскоре после твоего интервью с Язаки... Я прекрасно помню Колорадо, своего русского отца и итальянку мать, и нас, детей, сидящих вокруг стола. Я помню эти ночи, когда исчезал последний солнечный луч и на улице слышался треск подтаявшего льда. Я помню скромные ужины, когда мяса не хватало, чтобы положить что-нибудь в тарелку каждому из нас. Отец потягивает стакан дешевой «Смирновской» и рассказывает в мельчайших подробностях о своем рабочем дне. Девять десятых из его рассказа заставляют нас умирать, корчиться от смеха, держась за бока, но одна десятая — это самый важный урок «Веру в себя человеку дает не его национальность или происхождение, а только образование, которое он получил, только образование, вы слышите? Образование, а к нему еще прибавьте способность уметь выражать свои мысли». Вот что говорил отец.

Послушай, я не понимаю, о чем ты? Почему это я странная? — спросила я Митча. Мне хотелось узнать, какое впечатление я произвожу на других. Я знала, что Митчелл человек проницательный и наблюдательный.

Я догадался на пятый день. Ты приходишь в контору каждое утро в восемь пятьдесят девять. Последние десять дней — плюс-минус двадцать секунд. Так, потом ты здороваешься с каждым из сотрудников, начиная с сидящего левее всех, за столом напротив окна. Без десяти двенадцать: «Что бы такого мне сегодня съесть?» — спрашиваешь ты сама себя по-японски. Каждый день! Иногда ты только и повторяешь эту фразу, но ежедневно ты произносишь что-то подобное около полудня. Я это говорю не для того, чтобы рисовать тут тебе картину поведения маньяка, в которого ты превратилась, — объяснил Митч, прикончив свою баранину.

На его тарелке остались веточка салата и немного соуса. Этот соус и его разводы на тарелке делали ее похожей на морскую карту. Что он скажет, если я признаюсь, что хочу уехать в Мексику вместе с Язаки? Я чувствовала, что он ждет, чтобы я открылась ему.

Мичико, ты взрослый человек, способный отвечать за свои поступки, в этом я абсолютно уверен. Личная жизнь и работа — разные вещи. Ты хорошо выполняешь свою работу, не мне это тебе говорить. Я полностью тебе доверяю, если не хочешь, можешь не отвечать, ты не обязана это делать. Уверяю тебя, твое состояние ненормально, это не относится к тому факту, что ты могла влюбиться в Язаки. Ты извлекла максимум из этого интервью, твой репортаж мастерски закручен: между строк там можно увидеть духовный распад личности, достигшей в свое время вершины профессионального успеха, размышления на тему японского менталитета, а также и почти клиническую картину японца, ищущего чуть ли не религиозного спасения, и самые позорные для Америки факты. Все это заинтересует и американского, и японского читателя. Этот человек уникален. Думаю, что для большинства моих соотечественников японское мышление покажется слишком сложным. Оно формируется благодаря взаимодействию, происходящему между группами, отдельными личностями, ассоциациями и так далее, к которым принадлежит индивид. Это мышление присуще любому уровню японского общества, оно свойственно как директору корпорации «Сони», так и адептам новой религиозной секты, как артистам, так и якудза или членам «Японской красной армии». А Язаки принципиально отличается от них. Он единственный в своем роде! Его разговор течет в любом направлении, в его речах проявляется изумительная логика. Нет ничего удивительного в том, что ты была очарована им и впала в соблазн. Если бы вопрос стоял так, что ты, увлекшись этим человеком, начала бы халтурить на работе, забывать про важные встречи, не знала бы в конечном счете, кому рассказать об этом, все это было бы еще ничего, это было бы нормально. Язаки исключительный человек, и даже если с точки зрения морали он в чем-то и опасен, я все равно не вижу в этом большой проблемы. Проблема в том, что, глядя сейчас на тебя, я не могу не заметить тех же симптомов, что наблюдались у солдат, вернувшихся из Вьетнама. Тебе достаточно? Эти симптомы вызваны травмирующими ситуациями, в которые солдаты попадали

на полях сражений. Шоковое состояние причиняет им серьезные страдания, и они стараются спрятать это поглубже в себе. Сами! Они пытаются отрицать самих себя. Но это-то и невозможно, это только усиливает последствия травмы, ибо сама она в данном случае гораздо тяжелее, чем способен вынести человек. Это и называют посттравматическим стрессом. Такая штука подтачивает тебя изнутри, а потом вдруг выходит на поверхность. А знаешь, как и когда это происходит? Нет? Когда твое «я» или то, что его ограничивает, рушится. Я немного преувеличивал, сравнивая тебя с солдатами, но разреши мне сказать тебе одну вещь и прости, если она покажется тебе бестактной: я считаю, что ты подверглась со стороны Язаки определенного рода сексуальному насилию, которое, будучи достаточно реальным, тем не менее не помешало тебе подпасть под чары этого человека. Вот, как мне кажется, что с тобой произошло. Прости, пожалуйста, что пришлось говорить тебе подобные вещи. Это единственно потому, что я очень встревожен. Ты не обязана мне отвечать, если не хочешь. — Нет, не хочу, — сказала я.

Мы принялись за кофе и больше не произнесли ни единого слова.

Митч пытался узнать, не была ли я некоторым образом изнасилована. Неплохая гипотеза, честное слово!... Изнасилование...

Я и сама понимала, что нахожусь в ненормальном состоянии. Но это совсем не то, о чем говорил Митчелл. У меня не было осознанного намерения приходить ежедневно без одной минуты девять. Все, что я нашла в себе ненормального, так это мое нынешнее отношение к Митчеллу. Темы его разговоров, речь, интонации, манера есть, соглашаться, его жесты, движения пальцев при работе за компьютером и прочее — все это рисовало характерный портрет человека лет тридцати, добившегося успеха ньюйоркца. И все это сопровождалось ледяной холодностью, холодностью, которую некоторые специально воспитывают в себе. Холодность и воодушевление. Впрочем, это грани одного явления. Что касается меня, то я могу пребывать только в одном из этих измерений. Я внезапно ощутила свой собственный внутренний холод. Вот это мне и показалось ненормальным, когда я взглянула на создавшееся положение со всех сторон. Чем же лучше был сам Язаки? «Ничем, совсем ничем, — ответил бы Митчелл, словно у него был диплом психотерапевта. — Он имеет лишь то, что и ты теперь, половинку кода, вторая половинка которого у тебя, он просто пробудил в тебе это. Он всего-навсего катализатор, что-то вроде ферментного раствора, необходимого для деятельности гена». Но отчего я почувствовала эту холодность в манерах и поведении этих двух блестящих американцев — Билла и Митчелла? Потому что Язаки жил в квартире, выходящей окнами на южный выход Центрального парка? Потому что он употреблял кокаин так, словно это была губная помада, и пил «Шато Мутон» как минеральную воду? «Вы следите за моей мыслью? Никому не позволено относиться подобным образом к такому вину, это заслуживает хороший порки! Когда язык из-за кокаина потерял способность воспринимать вкус, пить в таком состоянии вино, созданное усилиями лучших виноделов Франции, действительно заслуживает порки! Не знаю, сколько бутылок «Шато Мутон», шампанского «Крюгг», местного вина из Монпраше, «Шато Икем» я выпил в компании с Кейко и Рейко. Чуть ли не до смерти обторчавшийся от кокаина и экстази... С того времени, как Рейко ушла от меня, я не могу больше спокойно смотреть на этикетку «Шато Мутон», моя грудь разрывается. Я знаю, что час наказания уже настал. А, неважно! Все вина, которые я только что назвал, — исключительные. Прекрасные вина, даже с похмелья. Даже после того, как запудришь нос девяностопроцентным

кокаином. Теперь я понимаю, что представляло для меня высшую ценность. Задумайтесь на мгновение. Возможно, вы ничего и не поймете, потому что вы женщина... Я хочу своей болтовней взволновать вас, я это прекрасно сознаю... и если я вам говорю об этом, то только потому, что я это совершенно точно знаю. Передо мной две женщины. На столе — белый порошок. Такой белый, что, разбей туда пару яиц, можно испечь блинчики. Еще есть прозрачный пластиковый пакетик, в каких продаются по пятьсот иен семена подсолнухов, чтобы кормить голубей. Он набит таблетками экстази. Рядом стоит бутылка «Шато Мутон» 1970 года с рисунком Шагала на этикетке. «Иди прими душ», — говорю я одной из девушек, но она начинает кобениться, каждая клеточка ее тела пропитана наркотой. «А что вы собираетесь делать, пока я буду в душе?» — интересуется она. Она тряслась от ревности и краснеет, краснеет до корней волос от стыда. Потом она поднимается и идет в ванную. Но я ничего не собираюсь делать с той, что осталась. Я только выключаю музыку, чтобы было слышно, как эта девица раздевается и как шумит льющаяся на нее вода. Вторая девушка говорит, что она хотела бы еще не много вина. Я иду за другой бутылкой «Шато Мутон», стираю тонкий слой пыли, который ее покрывает, и вынимаю свой швей царский нож. Втыкаю штопор... бутылка откупоривается, и по комнате тотчас же распространяется новый аромат. Я осторожно наливаю драгоценную жидкость в бокал в форме груши. По сравнению с этими мгновениями оргазм — просто собачья отрыжка!» Я ждала звонка Язаки. Когда приходила домой, у меня на руках выступал пот, пока я слушала записи на автоответчике. Сходила ли я по нему с ума? Я бы так не сказала. Но вот что я сказала бы точно, так это то, что Язаки не был... холодным. Я не чувствовала ни малейшей холода, несмотря даже на его меланхолическую грусть. Мне уже надоело обедать с Биллом и другими мужчинами, но свою работу я выполняла ответственно. Я появлялась в офисе в восемь пятьдесят девять. Я продолжала привычно существовать.

Месяц спустя после обеда с Митчеллом в ямайском ресторане я наконец услышала голос Язаки: «Это Язаки, четверг, четыре часа дня. Я буду у стойки люкскласса «Мексикана» в аэропорту Кеннеди. Приходите, если будет желание... Я думаю уехать недели на две, но, возможно, поездка затянется...» На следующий день, едва войдя в контору, я попросила у Митчелла отпуск. У него не нашлось повода для отказа, тем более что он сам советовал мне отдохнуть. Он сказал «о'кей», а потом добавил, что я впервые отколола такой номер. В его улыбке чувствовалась грусть. Думаю, он заметил, как вокруг меня вьется тень Язаки.

Чтобы собраться в дорогу, мне потребовалось два дня. С купальником и нижним бельем возникла проблема: сначала мы должны были прилететь в Канкун, и купальник был необходим. Я то и дело твердила себе, что возьму купальник, в котором ходила в бассейн, и нечего мучиться по этому поводу. То же и с нижним бельем. Ведь Язаки ничего не говорил, что мы будем спать в одной комнате, а даже если бы он и предложил это, я бы отказалась. Поэтому, думала я, сойдет и обычное белье. Вот вроде бы и все, но мне постоянно лезли в голову сравнения с Кейко, Рейко и прочими женщинами, с которыми Язаки общался в прошлом. Первые две были его любовницами. Они были танцовщицы, актрисы. Поэтому не могло быть и речи, чтобы я сделала что-нибудь так же, как они. В этом я была убеждена, причем настолько, что начала чувствовать отвращение. Какое мне следовало взять — черное или белое, более приличное? Я то собирала, то вновь разбирала дорожную сумку и несколько раз даже хотела отказаться от поездки. Потом задала себе несколько вопросов. Наверно, первый раз в жизни я спрашивала себя так строго:

Ты хочешь поехать вместе с Язаки?

— Да.

Ты хочешь переспать с ним?

— Да.

Секс — твоя единственная цель? — Нет.

Главная причина, почему ты едешь? Усталость, — ответил голос внутри меня. —

Усталость, которая неумолимо давит.

Я влюбилась именно в эту усталость, что показал мне Язаки. В конце концов я взяла с собой купальник «Спидо» и несколько комплектов простого белья от Кельвина Кляйна.

В день вылета я решила взять такси только до «Гранд-Сент-рал», а оттуда до аэропорта доехать автобусом. И только я собралась последний раз проверить содержимое моей сумки, как зазвонил телефон. Выяснилось, звонил шофер лимузина, который прислал за мной Язаки. Только я вышла на улицу, навьюченная сумками — одна, матерчатая, болталась у меня на шее, вторая, тирольская, кожаная, — в руке, как увидела стоящий поодаль необычайных размеров лимузин цвета металлик. Шофер оказался коренастым человечком, кажется итальянцем, в красном галстуке-бабочке. Он открыл дверцу, и пока я пробиралась в салон, у меня возникло впечатление, будто я нахожусь внутри гигантского серого фаллоса.

Перед тем как отправиться к ацтекским руинам, предлагаю провести несколько дней в Канкуне. Этим летом обещают страшную жару, а в таком случае нет ничего лучше комфортабельного курорта, чтобы слегка акклиматизироваться.

Язаки коротко подстригся. Он был одет в легкие муслиновые брюки, голубую тенниску и черную летнюю куртку. На ногах — удобные мягкие туфли. На левой руке покачивался атташечек с позолоченной эмблемой «Хэллибертон». Я поблагодарила его за присланный лимузин.

Прошу вас, это сущая безделица, — пробормотал он, словно застенчивый ребенок.

Он усадил меня на диванчик рядом с окошечком регистрации багажа и предложил подождать немного. Затем он подошел к очень приветливой служащей полукровке и заговорил с ней по-испански. Облокотившись на стойку, он протянул ей билеты и попросил места для некурящих. Потом зарегистрировал наш багаж, ввернул носильщику чаевые и взял протянутые служащей какие-то купоны. Его движения были очень естественными, тем более что он выполнял эти формальности сотни раз.

В холле аэропорта и в очередях у стоек регистрации багажа толпился народ. Это были небогатые американские туристы и возвращавшиеся домой мексиканцы. Регистрация на рейс до Мехико и Канкуна производилась у трех стоек. У мексиканцев оказалось невообразимое количество багажа, причем никаких корзин или дорожных сумок. Их имущество было упаковано в объемистые картонные коробки, которые постоянно падали с тележек и разрывались, и обильное содержимое разлеталось по полу. Однако очереди не увеличивались, и служащие аэропорта орали: «В очередь, в очередь, соблюдайте, пожалуйста, очередь! Не забывайте регистрировать весь свой багаж!» Американцы безуспешно жаловались, почему не предусмотрены резервные стойки регистрации для вылетающих в Канкун. Повсюду раздавался плач и крик мексиканских детишек, обрывки испанской речисливались в какой-то одуряющий

гул.

Язаки пил «Кровавую Мэри» в салоне для пассажиров люкс-класса самолета компании «Мексикана». Я взяла себе кофе. Зал был громадный, но людей в нем можно было пересчитать по пальцам. Всего было шесть пассажиров, все в костюмах — деловые люди, либо прилипшие к своим телефонам, либо щелкавшие по клавиатуре ноутбуков. Язаки, заполняя свою иммиграционную карту, неожиданно заметил:

Никогда еще так не путешествовал.

Как так? — Никогда я еще не ожидал взлета в салоне люкс-класса. В смысле, что во всех остальных самолетах очень узкие кресла.

Он сдобрил свой коктейль изрядной порцией черного перца. Покончив с картой, он показал мне ярлык, предназначенный для мексиканской таможни. Проход через мексиканскую таможню очень сложен, пояснил он:

Видите рисунок на этой карте? Тут две лампочки у каждого поста, красная и зеленая, а ниже есть кнопка. Те, кто хочет пересечь мексиканскую границу, должны нажать на эту кнопку. Загорится одна из двух ламп. Случайно. Если это будет зеленая — вы проходите свободно. Если красная, вам основательно распятают все ваши сумки. Обе лампы достаточно большие. — Язаки показал мне свою ладонь и продолжил: — Лампы круглые, вот такой величины. На зеленой есть надпись: «Проходите». Она появляется, когда загорается лампочка. В общем, красная лампа загорается один раз из пяти. Мексиканцы проходят через резервный проход. Частота, с которой эти лампочки загораются, имеет большое значение. Проклятая система! В каком-то роде игра вслепую.

Это в духе латинян, — сказала я, засмеявшись.

Я хотел бы попросить у вас одолжения. Вероятность, что красная лампа в проходе для туристов загорится два раза подряд, практически равна нулю. Когда мы будем проходить через таможню, нам лучше всего оставаться в одном ряду, чтобы нажать кнопку друг за другом. Если передо мной загорится красный свет, я хочу, чтобы вы взяли себе эту коробочку. Будет очень прискорбно, если мексиканский таможенник заинтересуется ее содержимым.

Я согласилась, хотя знала наверняка, что там находится наркота. За минуту до этого я наивно полагала, что Язаки попросил меня сопровождать его единственно в целях создания образа семейной пары, чтобы не привлекать внимания таможенников. Но мгновение спустя я сказала сама себе, что теперь, после всего, это уже не имеет никакого значения.

Вы всегда берете с собой в путешествия кокаин? — пошутила я.

У Язаки изменился даже цвет лица. Я невольно подумала, что он сейчас, чего доброго, и разорется. Но он совладал с собой и заговорил спокойно:

Вы шутите, я полагаю. Никогда так больше не говорите. Вы, может, считаете меня трусоватым, но советую вам довольствоваться тем, что знаете обо мне. Вы поняли? Я кивнула в знак согласия. Язаки одним глотком прикончил «Кровавую Мэри» и заказал еще у девушки в униформе.

Я знаю, что любой человек может попасть, даже не отдавая себе в этом отчета, в неприятное положение. С двадцати лет я езжу по странам «третьего мира» и по Восточной Европе. Вы ведь неглупая девочка, у вас ведь нет предрассудков во многих отношениях, но вы ведь не знаете, что в Латинской Америке можно совершенно неожиданно попасть в неприятное положение. И тогда прощай, свобода! Могут убить. Вы, кажется, произнесли слово «кокаин»,

если я не ошибаюсь. А кто вам сказал, что здесь, в салоне люкс-класса, не сидит инспектор по наркоконтролю? Ребята, отслеживающие курьеров, очень чутки на ухо, и они понимают слово «наркота» абсолютно на всех языках мира. А откуда вы знаете, что вон та стюардесса, что несет выпивку, не из их же компаний? Маловероятно, чтобы эта юная метиска понимала пояпонски, но в Южной Америке очень серьезно относятся к стукачам. Стукачи! Посмотрите на нее, в ее жилах течет индейская кровь. У нее есть брат, и этот брат участвует в антиправительственной партизанской войне. Недавно его арестовали, его ежедневно пытали, может быть, его приговорили к расстрелу, а сестре передали, что в обмен на кое-какую информацию исполнение приговора можно отложить. И вот эти люди стучат... Вот мужчина азиатской внешности, который в посадочном талоне числится за креслом «3D». Он ведет переговоры по поводу совершения террористического акта в салоне люкс-класса. И достаточно одного такого звоночка, чтобы попасть в очень досадную ситуацию, даже не успев осознать, что, собственно, произошло. Вы меня понимаете? Да, конечно.

Но Язаки покачал головой:

Нет, вы меня не поняли. Вы только говорите, что поняли, но на самом деле вы лжете. Вы просто не в состоянии понять. Ваша система обработки информации основывается на совокупности нравственных ценностей, принятых в Соединенных Штатах Америки. А первая среди них — справедливость. Вы исходите из предпосылки, что принцип равенства возможностей распространяется на всех людей. Забудьте это немедленно, ясно? Прошу, выбросьте из головы этот вздор. Я разозлилась:

Может быть, мне вообще уйти? Если вы действительно думаете это сделать, что ж, валяйте. Но мне бы этого не хотелось. Наверно, я кокетница, но я не собираюсь проходить мексиканскую границу так, как вы себе воображаете. Тем более я вам не сказал, что находится внутри этой коробочки, иначе вам будет сложнее спрятать ее, если мы вдруг столкнемся с непредвиденными обстоятельствами и вас начнут допрашивать. Вы имели когда-нибудь дело с чиновником, наделенным таким качеством, как справедливость? Я покачала головой.

А я — да. И неоднократно. В стране, где мафия и люди, заслуживающие тюрьмы, представляют закон, все может произойти. Но, когда это происходит, уже слишком поздно. С тем же успехом вы можете заявить льву, приготовившемуся прыгнуть и сожрать вас: «Эй, погодите, я плачу взносы в Гринпис!» — Язаки поднялся со своего места и пересел на диван напротив меня. — Не уходи.

Да я и не собиралась.

К «Камино Реал».

Усевшись в такси, Язаки указывал направление.

Позади три часа полета. У нас два раза подряд загорелась зеленая лампочка, и мы спокойно миновали таможню. Мы не успели выйти из терминала, как почувствовали себя словно тающими под солнечными лучами. Ощущение было такое, как будто мы растворились в теплом воздухе. Нас уносил поток света. У меня закружилась голова, и пришлось сбросить свою бежевую куртку, которую я накинула было на плечи.

У вас белая кожа, — заметил Язаки, разглядывая мои обнаженные руки.

Наши сумки он уже передал носильщику.

— А отель далеко отсюда? Я очень пить хочу, — выдавила я.

Язаки передал носильщику деньги, и тот направился за пивом. Мексиканское пиво — на

этикетке были изображены две буквы «Х», одна напротив другой — было теплым, но я выпила свою бутылку почти залпом.

Такси двигалось около двух минут, а затем нам открылся океан. От этого зрелища у меня перехватило дыхание... Цвет воды, залив, небо, пляж, островки, волны, пальмы и горизонт составляли великолепную композицию. Пейзаж, остававшийся за нами, создавал иллюзию медленного движения, тогда как panorama спереди налетала на нас с большой скоростью. Я не могла удержаться, чтобы не прошептать: «Блестяще!» Язаки ничего не сказал, только кивнул, соглашаясь. Мне казалось, что весь ландшафт разложился на маленькие частицы, проникавшие в мое тело, и это было похоже на то, как в тебя первый раз входит пылкий и жаждущий мужчина.

Такси выехало на берег, и мгновение спустя мы увидели переду гостиниц, построенных, судя по всему, не без участия американского капитала. Курортное mestечко Канкун располагалось посередине косы, закрывающей лагуну, как в Майами-Бич Отели выстроились в ряд по обе стороны шоссе. Здесь были представлены все значительные компании — от уровня «Холидей-инн» и «Рамада-инн» до «Хилтона», «Дорал» или «Хайят». Одно из зданий своей архитектурой напоминало ацтекскую пирамиду. «Камино Реал» был, несомненно, самым шикарным из местных отелей.

Я забронировал двухкомнатный номер, но, если вы возражаете, можно и поменять, — произнес Язаки перед стойкой администратора в холле.

Я опустила голову и напустила на себя задумчивый вид. Возражать я не собиралась, но и не хотела сразу обнаруживать свою радость, боясь показаться несдержанной. Язаки взглянул на меня и, усмехнувшись, добавил:

Балкон выходит прямо на океан. Также имеется джакузи.

Перед тем как расположиться в номере, мы решили позавтракать. Ресторан находился в патио, посреди которого росла целая рощица мангровых деревьев. Чуть подрагивавшие листья укрывали столики надежной тенью. В воздухе ощущался аромат сладкой и перченой сальсы и тропических фруктов. Туда-сюда сновали официанты, толкавшие перед собой тележки, заполненные креветками, крабами и рыбой. Над океаном кружили белые птицы. Я почему-то подумала о той холодности, которая исходила от Билла и Митчелла. Выражение их лиц, их жесты были пронизаны этой холодностью, и мне хотелось знать ее причину. А причина как раз сидела напротив и с усталым видом изучала меню.

Позвольте, я выберу.

Я согласилась, широко улыбнувшись. Эта улыбка уже начала мне надоедать.

Язаки заказал суп из омаров, кактусовый салат, жареного лангуста и бутылку белого чилийского вина.

Чилийское было не таким мягким, как калифорнийское, бургундское или кьянти. Я пила свой бокал молча, поглядывая на фонтан в виде Нептуна, стоящий в центре дворика, и на пестро разрисованные птицы клетки. Достаточно было чуть повернуть голову, и передо мной открывался вид на океан, который уже не казался огромным водяным массивом. Все было настолько чудесно, что не хотелось даже разговаривать. Я и не пыталась найти тему для беседы.

Не подумайте, что мне скучно, но, если желаете, мы можем продолжить наше интервью, — совершенно серьезно предложил Язаки. — А хотите, я расскажу вам о чем-нибудь другом.

Я не взяла с собой диктофон.

Язаки приспустил солнцезащитные очки и расхохотался.

Вы не вспомните, почему я согласился на это интервью? Вы хотели убедиться, что ваши раны затянулись, не так ли? М-да, фраза, за которую мне до сих пор приходится краснеть. Излечиться от своих ран... Надо было выразиться иначе, но все равно, что бы я ни говорил, остается только краснеть от стыда. И как я мог такое ляпнуть!

Не вижу никакого повода стыдиться.

Этот отель делает вас сентиментальной, не правда ли? Говоря это, я не хочу оказывать на вас какое бы то ни было давление. Изначально я собирался ехать сюда один, и тогда я бы поселился в другой гостинице. Но как только стало ясно, что вы поедете со мной, я сразу же сообразил, что было бы глупо не брать в расчет сентиментальную сторону этого дела. Это же очевидно.

Следовало спросить, был ли он здесь до этого, но я тотчас же вспомнила о Кейко и Рейко и прикусила язык, так как уже не могла слышать о них.

Я здесь давно не был. Когда я летал на Кубу, мне показалось, что было бы лучше остановиться здесь, чем тащиться в Мехико. Сначала я не имел об этом месте никакого понятия и всегда останавливался в Мехико, несмотря на то, что всегда ненавидел этот город. Впрочем, я и Мексику-то не особенно люблю.

Почему? Нам подали приборы. Официантами были индейцы — маленькие и улычивые.

Почему? Вы спрашиваете о Мехико или про Мексику вообще? А что, причины различаются? Ну да. Различаются. Мехико находится на высоте двух тысяч трехсот метров над уровнем моря. Мало кислорода, а я не переношу разреженной атмосферы. От наркотиков у меня всегда болит сердце.

Не боитесь употреблять здесь это слово? Помните, что вы мне говорили в аэропорту? Здесь нормально...

Но вы, кажется, говорили, что всегда нужно быть внимательным в выборе слов.

А, не стоит так уж стараться. Лучше ешьте вашего лангуста. Он гораздо вкуснее, пока горячий! Вы совершенно правы. Осторожность никогда не повредит. Но между этим местом и залом ожидания аэропорта есть разница. Да, есть! Аэропорты — это за крытые места, особенно международные. Там совершаются самые тяжкие преступления в мире. Власти уделяют большое внимание вопросам безопасности. Нет лучшего места для сбора террористов, чем аэропорт. Не верите? Ну вот, а здесь — свобода. Мы сняли номер за восемьсот восемьдесят долларов в сутки, мы ни для кого не представляем опасности. И я буду платить восемьсот восемьдесят баксов за эту безопасность. Но давайте оставим этот разговор. О чем мы говорили до этого? Мехико...

Я осушила свой бокал одним глотком, словно это была обычная вода. Кто-то мне говорил, что вино очень плохо переносится в жарком климате. Пот лил с меня градом, даже когда я неподвижно сидела в тени мангровых деревьев. Температура воздуха была очень высокой. И тем не менее вино мне нравилось.

Именно так! Я ненавижу Мехико из-за разреженного воздуха, а Мексику я ненавижу, потому что там слишком много индейцев!

Индеецев? Я невольно посмотрела на стоящих неподалеку официантов. Многие из них таскали тарелки и бокалы на подносах, которые держали очень высоко, на уровне плеч. И всегда отпускали какую-нибудь любезность, когда подавали на стол. Милые маленькие индейцы!

Вы не любите индейцев? Без смеха, братство — мой идеал. Я бы даже сказал, что я убежденный гуманист, и это начинает раздражать. Я действительно хотел бы, чтобы все люди были счастливы. Проблема не в любви или ненависти. Я ненавижу индейцев. Они, как и мы, монголоидной расы. Но вы не находите, что они очень уж приторные? Даже не милые, скорее

глупые. Скрытные травоядные. Вот Куба — это другое дело. Испанцы сначала пришли туда. Они быстро истребили все местное индейское население непосильным трудом и сифилисом. Поэтому на Кубе нет никого, кроме пррапраправнуок чернокожих рабов, привезенных туда из Нигерии и Конго, да немногочисленных гальегос. Так называют потомков испанцев, полукровок. Очень, очень сильные люди.

Но ведь во времена ацтеков все индейцы были воинственными? Откуда у вас такая уверенность? Монголоидная раса чрезвычайно легко муттирует. Посмотрите на камбоджийцев или вьетконговцев времен Хо Ши Мина и Красных кхмеров. Да их лица светились изнутри! Конечно, я их мог видеть лишь по телевизору или в газетах, но достаточно взглянуть на лицо человека, чтобы составить о нем свое мнение. Так вот, я помню, какие это были одухотворенные лица.

Это выражение употребляют слишком часто. А что вы хотите этим сказать? О каком лице вы говорите? Мое напряжение возросло. Я стала куда более разговорчивой, чем раньше. Из-за вина, наверное. В таком возбужденном состоянии я начинаю много пить. Океан, видневшийся позади Язаки, окрасился в совершенно незнакомый мне цвет. Все моря и океаны, которые я когда-либо видела, были голубыми или зелеными. Но сейчас вода стала почти прозрачной, словно некий плоский драгоценный камень. Но не это зрелище так возбуждало меня.

Язаки помолчал и ответил:

Лицо, выраждающее волю.

К нам приблизился служащий отеля.

Ваш багаж в вашем номере, — произнес он, протягивая ключ.

Мы допили вино и направились в сторону гостиничного корпуса, где размещался наш номер. Через бассейн с пресной водой, где попискивали птички, был переброшен мостик. В огромном и пустом холле не было никого, исключая портье за столом в самом углу. Мы зашли в лифт и поднялись к себе.

Осматривая комнаты и террасу, я каждый раз не могла удержаться от восторженных восклицаний. Терраса была гораздо больше моей нью-йоркской квартиры. Вдоль стены росли какие-то темно-зеленые растения с густой листвой. Низкий столик и два диванчика были развернуты к океану, справа в углу помещалось джакузи. Перед нами раскинулся необъятный океан.

Можно мне в джакузи? — словно маленькая, заканючила я, обхватив руками Язаки, который потянулся в мою сторону.

Роста он был невысокого, и мое лицо оказалось прямо напротив его. И в то мгновение, когда я захотела, чтобы он обнял меня, он осторожно взял мое лицо в свои ладони и поцеловал в губы. То есть слегка их коснулся. Очень целомудренный поцелуй. Я ожидала совсем другого. Я думала, что он бросит меня на пол, я хотела почувствовать, как он разрывает на мне белье, я видела себя на коленях, уткнувшейся лицом в его ширинку, я хотела сцепиться с ним в объятиях и ощущать во рту его язык... короче, я надеялась на что-то подобное.

Поцелуй Язаки был очень нежным. Это меня несколько успокоило. К своему удивлению, я нисколько не встревожилась оттого, что реальность оказалась совсем иной. Я сама напоминала себе тех военных корреспондентов, которые, будучи на поле сражения, продолжают рассказывать про то, как люди живут своей повседневной и пошлой жизнью.

Давай посмотрим на океан.

Плечо к плечу, мы уперлись в стекло, созерцая океан у наших ног. Терраса образовывала полукруг, выходящий на частный пляж. Песок был ослепительной белизны. Волн почти не было. И от берега до самого горизонта можно было разглядеть то тут, то там выступающие из воды коралловые островки.

Смотри сюда!

Язаки показывал пальцем на что-то более темное и раза в два превосходившее по размеру силуэт ныряльщика: в прозрачной воде спокойно проплывала акула.

Может, предупредить служащего? Из-за акулы такого размера не стоит беспокоиться. Хотя нет гарантии, что такая мальшка не вздумает закусить кем-нибудь.

Мы достали свои купальные принадлежности, собираясь спуститься к воде. Солнце немного смеялось, но, проходя по лестнице, которая вела из холла гостиницы, я почувствовала, как раскаленный бетон обжигает мне ступни. В лавочке, что торговала опахалами и снаряжением для подводного плавания, мы взяли напрокат полотенца, а потом устроились в шезлонгах под зонтиками.

Когда я переодевалась, Язаки постучал в мою дверь и просунул туда голову. Я как раз надевала верхнюю часть купальника, Ах, прости! — произнес он, повернув обратно.

Я приблизилась к нему, я хотела, чтобы он обнял меня еще раз. Язаки чмокнул меня в обнаженную грудь:

Я хотел попросить тебя поторопиться.

Он страшно стыдливый, подумала я. Неужели это тот самый человек, перепробовавший все мыслимые и немыслимые наркотики, дошедший до последней черты со своими эксцентричными и сильными женщинами, Кейко и Рейко? Но потом я подумала о другой вещи, гораздо более простой: а были ли груди у Кейко и Рейко лучше моих? Я никогда ведь не спрашивала его об этом.

Конечно, я старалась убедить себя, что никогда не собиралась сравнивать себя и их.

Ты пойдешь купаться? Язаки нарядился в черные очки и бермуды. Он подошел так близко, что наши плечи коснулись друг друга, и сказал по-испански служащему-индейцу, чтобы тот принес пива.

А... а ты? Я никак не могла понять, как к нему обращаться.

Я пойду попозже.

Ну, тогда и я пойду с тобой.

На пляже не было почти никого. Из десяти шезлонгов, выстроившихся рядом на песке, занята была только половина. И еще мне понравилось, что большинство из отдыхающих были стариками. Не было ни одной молодой девушки. Я, которой в будущем году исполнится тридцать, была здесь самой молодой. И хотя моя фигура самая обычная, все равно я замечала на себе ревнивые взгляды старушек.

О чем ты думаешь в таком месте? Хмм... О прошлом и будущем.

Ты пытаешься вспомнить?.. Ты вспоминаешь прошлое? Я не собираюсь совсем теряться в собственных воспоминаниях. Я также думаю о сегодняшнем обеде. Если мы пойдем в город, то сможем отведать чудесной мексиканской кухни. Там есть один ресторанчик, где подают потрясающих устриц и лангустов. Вот я и пытаюсь вспомнить, как это было в прошлый раз. Стоит ли туда сходить? Тебе обязательно думать об этом? Скорее да, чем нет.

Ладно, пойдем поплаваем. А потом вернемся в номер. Примем душ. Выпьем текилы и подумаем об этом, когда придет время. Там что, нужно заказывать столик? Не обязательно. Я сказал, что думаю о ресторане, но я солгал. Я думал о другом.

Секунду я колебалась, но все-таки не вытерпела:

Ты был уже здесь? Да. С Рейко.

И в тот момент ты думал о ней? Я не осмелилась спросить его, была ли Рейко так же красива, как и молода. Она была актрисой, танцовщицей... она должна была быть гораздо красивее меня.

Сказать, что я думал о ней, было бы не совсем верно. Я больше не испытываю никакой тоски по тому периоду моей жизни. Если честно, то говорить, что это не делает меня особо сентиментальным, было бы странно. Я думал о том, что мой приезд сюда вверг меня в меланхолию.

Меланхолия...

Я все повторяла и повторяла это слово... «Меланхолия»... Что оно означало в устах этого человека? Я не спросила его. Это слово все больше заинтриговывало меня, но я не хотела говорить на эту тему, а только повторять раз за разом: «меланхолия».

Хм, я считаю, что достаточно высказался по данному вопросу в том интервью. Я даже теперь прекрасно помню ощущение, которое испытывал, когда впал в меланхолию из-за этой истории с Рейко. Когда мои раны стали затягиваться, я начал общаться с теми, кто виделся с ней. И в эти мгновения я чувствовал, как внутри что-то завязывается в узел. Иногда это было сердце. Ощущение такое, как будто что-то сжимается и твердеет. Я чувствовал всю тяжесть моего тела, мой пульс учащался, и я уже не слышал ничего, что говорил мой собеседник. Я ненавидел состояние, в которое неизбежно проваливался, на меня что-то накатывало...

Такое может испытывать каждый.

Мне от этого не легче. Это не добавляет позитива. Мне хоте лось, чтобы это все прекратилось. Довольно, довольно! В Париже она снялась во многих фильмах, причем в двух из них играла главную роль. Мир независимого кинематографа невообразимо узок. Я мог быть в курсе всех событий, я был в курсе всего, я дол жен был входить в курс всех дел быстрее, чем кто-либо другой!» Ax!» — говорил кто-нибудь, видя мою реакцию, и пытался заставить говорить того, кто считал, что лучше бы в такой ситуации промолчать. Находились и такие, кто считал, что лучше вообще не будут мне ни о чем рассказывать. «Вовсе нет, напротив, пусть говорят, так будет лучше!» — кричал я тогда. Я не лгал. Если это была правда, я хотел знать ее всю. Правда... ну, тут я несколько преувеличиваю. Несмотря на любые сведения, каким бы они ни были, мне становилось все хуже. Возьмем, например, такую ситуацию: меня полюбила некая девушка — ведь не обязательно же ей быть девственницей, не так ли? Ну вот, у нее было прошлое. Не важно, был ли он старше ее на десять лет или хотя бы на час, все равно она трахалась с другими мужчинами. И вот начинаешь задумываться, как бы между делом: а как это у нее было, так ли, как ты себе представляешь? Или же ты даже не можешь представить, что это было?.. Никогда нельзя опускаться до такого и думать о подобных вещах!

Гадкая вещь — ревность, а? Да, так говорят. Так и есть на самом деле. Пользуясь этим словом, люди верят, что им удастся решить проблему воображения. Ведь говорят же, что ревность может стать двигателем творчества, что ревность заставит больше работать. Я не верю... ненавижу эту мысль! Вот, допустим, Рейко снялась в немецком фильме, и этот фильм получил единогласное одобрение критики на Берлинском кинофестивале. Это вряд ли доставило бы мне удовольствие. Я понимаю, что хочу, чтобы фильм провалился. «Оставь меня в покое!» — вот моя единственная реакция. Но нет никаких оснований считать, что так все и будет. Это как если бы приговор был уже вынесен, а наказание назначено. Я только об этом и думаю.

Это мучит тебя? Никогда нельзя избегать страданий. В моем случае, даже когда я был бомжом, я никогда не пытался уклониться от страданий. Я не хочу сказать, что отстранение чемто постыдно. Просто это было невозможно, от страдания нигде не спрячешься. А вообще я всегда любил уклоняться.

Ты ощущаешь сейчас меланхолию? Нет. Потому что здесь ты, и ты рядом со мной. Ты ни в коем случае не занимаешь место Рейко... не в том смысле, что вообще никто не может занять ее место. Я думал, что время сможет стереть эту меланхолию, но я ошибся.

Есть люди, которые находят в таком состоянии удовольствие.

Это их успокаивает. Никто из узников Аушвица не испытывал меланхолии. Это состояние появилось спустя годы, и никто не ставил им диагноза...

Должно быть, мы единственные, кто говорит в таком месте о меланхолии!

Именно как раз потому что мы здесь. Вечно ускользающая мимолетность, редкая удача, словно утреннее пение жаворонка у вас перед окном и все такое. У меня часто бывали подобные моменты. Но уж коли зашла речь об этом, я никогда не думал о таких вещах, да и пение жаворонков мне не нравится.

Потому что ты предпочитаешь меланхолию? Когда она приходит — да. Она доставляет ощущение полно ты, как после трудной работы. Меланхолия и есть чувство полно ты! И тем не менее я полагаю, что ошибался. По поводу Рейко.

Рейко? Да, я всегда был убежден, что другие не имеют никакой индивидуальности.

Язаки рассмеялся. Этот смех не был ни радостным, ни грустным, а скорее с оправдательным оттенком. Своим смехом Язаки будто хотел сказать: «А, не важно!» Это мне напомнило старую шутку насчет приговоренного к смерти. Заключенный поднимается на эшафот и заявляет: «Прекрасный день, отличная погода... Мне сегодня должно обязательно повезти!» И при этом разражается хохотом. Так вот, Язаки смеялся точь-в-точь как этот каторжник. Мне казалось, что я стала понимать его чуть больше.

Но это же кошмар — думать о таких вещах!

Это не значит, что я ненавижу весь мир. Скорее наоборот, я испытываю глубочайшее уважение к себе подобным. Не так-то легко быть лишенным индивидуальности!

Мы долго сидели в воде. Язаки кивнул индейцу, и тот принес нам маленькие белые хлебцы в полиэтиленовом пакетике, чтобы не промокли. Язаки разломил их и стал кормить рыбок, которые шныряли вокруг нас. Водаискажала дно, и было непонятно, можно ли уже нырнуть или пока еще лучше оставаться на ногах. Кораллы образовывали нечто вроде столиков, куда Язакисыпал хлебные крошки, на которые тут же набрасывались сотни разноцветных маленьких живчиков.

Это тебе. — Язаки протянул мне хлебец.

Ко мне поспешили небольшие полосатые рыбешки, они выхватывали и уносили кусочки мякиша, покусывая мои пальцы. Даже нельзя сказать, что они прихватывали, ощущение было такое, словно они сосали самые кончики пальцев. Я была очень возбуждена, ведь первый раз в жизни мне удалось дотронуться до таких крошечных созданий. Язаки вынырнул на поверхность, сорвал маску и закричал, что какая-то рыбка собирается откусить мне руку. Небо приобрело фиолетовый оттенок, и к линии горизонта побежала розовая дорожка. Язаки оказался более искушенным в кормлении рыбок, чем я. Он, как шаловливый мальчишка, спрятался за коралловым наростом и оттуда кидал кусочки хлеба, которые сразу же всплыли на водную гладь. К ним тотчас ринулось множество рыб всех размеров. Я обратила внимание, что самые маленькие из них были окрашены и живее, и ярче. Издали они казались еще более красивыми. Голубые, словно вобрали в себя весь цвет морской волны; на боках темно-красных,казалось,выступила и застыла их собственная кровь; белые могли спорить своим цветом с песком; желтые походили на куски водорослей, что плавали вокруг рифов. Но зато большие рыбы были гораздо сильнее. Чтобы завладеть пищей, они просто расталкивали малышей. Язаки старался не поднимать песок со дна и передвигался очень осторожно, давая корм только самым маленьким. Он указал на две темные тени, скользившие под водой. Это были мурены. Их глаза источали

жестокость. Голова каждой гадины была потолще бедра самого Язаки. Какое-то время он веселился, тыча в них пальмовой веткой.

Она откусила кусок! Местная лавка теперь может удержать с меня стоимость, — с серьезным видом заявил он.

Я плохо плаваю, но тут мне захотелось подплыть к нему и обнять... нет, не просто обнять, а покрыть поцелуями все его тело.

Солнце еще не зашло, когда мы поднялись к себе в комнаты. Пока наполнялась ванна, мы выкурили по косячку марихуаны и выпили текилы, перед тем как предаться любовным утехам. Комната еще освещалась последними лучами. У меня стучало в висках, я ждала, что Язаки покажет сейчас все свои фокусы. Но он, утомив меня ласками, просто кончил мне на живот. Мне бы хотелось посмотреть на это, но в висках стучало все сильнее, в горле пересохло, я была не в силах подавить свою стыдливость и долгое время лежала с закрытыми глазами. Язаки поставил передо мной стаканчик водки. Потом он завернул меня в купальный халат, и мы направились к джакузи. Я даже не могла определить, испытала ли я оргазм. Я была страшно возбуждена, из влагалища струилась жидкость, я сжимала изо всех сил тело Язаки и кричала, кричала... Проходя через комнату, я попыталась принять несколько горделивый вид, но, видимо, все силы меня покинули, ноги не слушались, и Язаки был вынужден поддерживать меня. Я выглядела, наверно, как выжившая после кораблекрушения, пока плелась к ванне в халате, наброшенном на плечи. Джакузи восемигранной формы была довольно просторной, чтобы мы смогли вытянуться там вдвоем. Вода издавала неведомый мне экзотический аромат. Нечто похожее на смесь мяты и ванили.

Хочешь немного музыки? — спросил Язаки.

Я кивнула. «Вот так очень хорошо», — попыталась выговорить я, но слова застряли у меня в горле. Опять дикая сухость.

Есть шампанское, но, думаю, пиво в это время будет лучше всего, — заметил Язаки, вынимая из холодильника бутылку «Дос Экис» и снимая крышку. Я пила большими глотками, глядя на розовую полоску на горизонте, которая незаметно превращалась в оранжевую, окрашивая поверхность океана. Струйки воды из джакузи брызгали пеной нам на лица. Держа в левой руке бутылку пива, правой я стирала пену с волос Язаки и касалась его уха, шеи, висков, губ.

Мне показалось, что солнце еще не успело зайти, но когда я оглянулась, горизонт был уже пуст. Небо было рассечено пламенеющими лучами, постепенно теряющимися во мраке ночи и утрачивающими свой цвет и яркость. Тьма, словно черный лак, закрыла половину неба. Она была похожа на что-то живое, тянущееся к горизонту. У меня создалось такое впечатление, будто я первый раз увидела, как на землю спускается ночь. Сумерки окутали джакузи, и, вместо того чтобы успокаивать мое желание, они разжигали его, будто были его воплощением. Воля меня покинула, я больше не могла сдерживаться. Желание возникало снова и снова, как пузырьки пены в ванне. Оно проникало во все уголки моего тела и наэлектризовывало его. Я лежала напротив Язаки. Его правая рука скользила по моей ноге, лаская внутреннюю сторону бедра. Первый раз так ласкали мои бедра. Я, конечно, не хочу сказать, что прежде до меня не дотрагивался ни один мужчина. Но те, кто меня ласкал, просто смотрели глаза в глаза и никогда не делали попыток прикоснуться к моему бедру, чтобы передать свою страсть, свое желание или удовлетворение. Это был своего рода код. И как от них отличался Язаки! Он чувствовал мое желание и мое возбуждение. Я не прекращала обнимать его, проводить по его телу языком и губами, словно я была щенком, нашедшим своего хозяина после долгих скитаний. Казалось, Язаки не обращал внимания на мое состояние, хотя это и не означало, что он был бесчувственен. Он не похлопывал меня одобрительно, он не увиливал со словами «Подожди

немного» и уж тем более не подбадривал меня «А так, так лучше?». Он смотрел вдаль с меланхолическим выражением лица. Лаская меня, он старался лишь убедить себя, что здесь, перед ним, была я. «Я думаю, что другие не имеют индивидуальности», — говорил он. Какое высокомерие! Но, с другой стороны, как было бы хорошо не иметь ее! Бессспорно, он был прав. Я серьезно задумалась: каким образом отношения с этим человеком, достаточно немолодым и не очень-то соблазнительным, смогли развить во мне склонность к раболепству? Но не было никакой возможности найти ответ на этот вопрос, ибо задан он был уже тогда, когда я превратилась в рабыню. У меня появилось желание, чтобы он поступил со мной как с вещью, этого требовала каждая клеточка моего тела. Я залпом допила «Дос Экис». Жажда все усиливалась. Как в подобной ситуации поступали те, другие женщины, желавшие, чтобы их трахнули? Это должно говориться одинаково на всех языках. И эти слова должны быть самыми бесстыдными, какие только можно произнести. Значит, они должны были начинать так: «Скажи...», и в тот момент, когда завязывался разговор, в них активизировалась мазохистская составляющая...

Хочешь немного шампанского? Не очень хорошее, но зато холодное.

Я кивнула. Язаки вытянул руку и достал два фужера, откупорил бутылку «Вдовы Клико», вышел из ванны и присел перед холодильником на каменный парапет, где лежали полотенца, стоял флакон с пенкой и щелестели листочками растения.

Вода слишком горячая! Тебе лучше бы поберечься.

Я посмотрела на его отдыхающий член. Потом приблизилась к нему и протиснулась между его ног. Язаки, видимо, собираясь произнести «Скажи мне...», стал, улыбаясь, катать холодную бутылку по моим раскрасневшимся щекам. Он медленно раз лил шампанское по бокалам. Я улыбнулась в ответ, вернула ему его улыбку, улыбку, которая выражала примерно следующее: «Я готов биться об заклад, что ты не из тех женщин, которые способны прилечь между ног у мужчины, у которого в каждой руке по бокалу шампанского, чтобы отрезать ему... это самое». Я вылезла из воды и села рядом с ним, почувствовав чудесную прохладу гладкого камня. Что-то вязкое выскользнуло из моего влагалища.

Мы чокнулись и стали пить мелкими глотками, созерцая последние отблески света на горизонте. Я заметила, что мы осмелели и стали более откровенными после того, как обменялись улыбками. Я поставила недопитый бокал на камень и провела рукой по шее, плечам и талии Язаки. Соски моих грудей коснулись его кожи. Глядя на свой розовый и острый сосок, я вдруг поняла, почему во мне не пробудилась моя мазохистская составляющая. Меня душила ревность. Даже в состоянии такого возбуждения я беспрестанно думала о Кейко и Рейко. Смогу ли я доставить ему столько же удовольствия, как и они? Я боялась разочаровать его. И я призналась в этом Язаки, левой рукой начав ласкать его пенис.

Ну что ты говоришь?! — засмеялся он. — Мы же здесь со всем одни! Смотри, я касаюсь тебя, ты — меня. Твоя кожа и моя кожа. И никого больше. Клянусь, я и не собирался думать о другой. Я скажу тебе не колеблясь: именно благодаря тебе я могу сейчас говорить с такой уверенностью.

Я хотела заставить его сказать больше. Я хотела, чтобы он сказал мне такую вещь, которую не говорил еще никому. Мне не терпелось узнать, как он трахал этих двух.

А если не понравится? — начал было он протестовать, но я искусно сжала его член пальцами и заставила его замолчать.

Не думай, пожалуйста, что я пытаюсь возбудиться еще сильнее, спрашивая тебя о них. Я спрашиваю, потому что чувствую, что могу сейчас слышать об этом. Завтрашним утром у меня не будет никакого желания слушать твои рассказы, даже если ты сам захочешь.

Член Язаки отвердел под моими пальцами, от него исходило тепло. Чтобы руке было легче

скользить по коже, я смазала его достоинство до самого кончика пенкой из флакона и стала слушать его рассказ.

Что я могу сказать... Необходимой принадлежностью было домино. Маска. Не то чтобы без нее нельзя было обойтись, просто с нею было проще. Я просил их оставить только трусики, заставляя сесть на стул и чисто символически связывал им руки и ноги. Потом я им говорил всякие разные вещи: например, что я глубоко их уважаю, как одну, так и другую. И, знаешь, я всегда привязывал их галстуком «Гермес». Я испытывал особое удовольствие, разглядывая эти галстуки, запачканные их выделениями, слюной и потом. Та, которая обмачивалась первой, должна была широко раздвинуть ягодицы. Первая, успевшая намочить свои трусы до появления пятна, считалась выигравшей. Ничто другое не доставляло мне большего удовольствия. Ничто. А та, что проигрывала, лишалась права смотреть дальнейший спектакль, оставаясь связанной на стуле. Я решил, что проигравшей должна всегда оставаться Рейко. Если она обмачивалась первой, ей все равно ничего не было видно из-под маски. Тогда я говорил: «Ну что же ты делаешь, сука!» — и давал ей несколько оплеух. А потом победительницей объявлял Кейко. Я никогда не занимался любовью с Рейко на глазах у Кейко. Наоборот — да. И только гораздо позже, когда я уже вовсю бомжевал, до меня вдруг дошло, что Кейко все это надоело. «Мистер Язаки, не было ли глупостью с вашей стороны считать, что мисс Рейко и я получали удовольствие, ублажая вас? Мисс Рейко плакала каждый раз после ваших сеансов. Она рыдала, а ее душа была убита, вы знаете об этом? Да и я наелась досыта! Нет, я не говорю, что я не любила проделывать ваши фокусы с вами, но вы будете настоящим глупцом, если поверите в то, что мы получали удовольствие! Думаю, в вашем чалдоне должна была появиться мысль, что мы собираемся убить вас из-за этого. Я не шучу!» Вот что доводило до слез маленькую девочку, прирожденную мазо, Рейко. Кейко была права. Впрочем, она всегда была права. Поэтому я и решил остаться с Рейко. И все-таки даже в такие моменты Рейко никогда не говорила мне откровенно о том, что она испытывала.

Я заставляла его продолжать свою исповедь, обхватив его пенис:

Расскажи про их оргазмы.

Рейко кончала легко, причем независимо от того, как я ласкал ее. Клитор, влагалище, анус, пальцем, языком или моим веселым парнишкой — абсолютно безразлично. Она кончала через несколько секунд. Кейко, та была очень чувствительна к ласкам одного только места, расположенного прямо за влагалищем. Достаточно было ухватить ее, приподнять задок и обнажить ягодицы... Это заставляло ее принимать самые унизительные и провокационные позы. Когда я спал с женщиной первый раз, она так и не кончила. Это зависело не от того, что она еще не раскачалась, просто я не сразу понял, какое место у нее наиболее чувствительное.

Я попросила Язаки заставить меня кончить здесь, прямо сейчас

Я знаю один способ. Правда, я его пока не опробовал, поэтому не могу сказать, кончишь ты или нет. Здесь, на каменной плите, нельзя, не очень хорошо для ягодиц — ты можешь не испытать оргазма!

Мы вернулись в спальню, захватив с собою халаты. Комната тонула во мраке. Язаки положил меня на спину, обхватил мои лодыжки и широко раздвинул мне ноги, встав между ними. Ягодицами я могла ощущать его колени. Несколько раз я пыталась открыть глаза и посмотреть на нас, но побоялась. Потом я начала мастурбировать, как он меня просил.

Можешь это делать левой или правой рукой, как понравится. Если ты смущаешься, закрой глаза, — велел он.

Я принялась массировать клитор и место чуть выше его подушечкой указательного пальца.

Сначала делай это очень нежно, а потом, как почувствуешь спазмы в ногах, — энергичнее и

всеми пальцами сразу. Так ты не сможешь кончить сама по себе, — добавил Язаки.

Из влагалища уже изливался целый поток, и словно электрический удар пронизал его, когда Язаки стал медленно входить в меня. Чувствуя, как горячая жидкость сочится под меня, я наконец поняла, почему она не попадает мне в зад: как только член Язаки оказался во мне, сфинктер инстинктивно сжался, совершенно помимо моей воли. Я ощущала, как он подрагивает. Но Язаки здесь был уже ни при чем, он не успел пока углубиться. Это было невыносимо, выше моих сил, мою попу сотрясала дрожь, и с ней нельзя было справиться.

Возьми меня, возьми меня! — кричал чей-то голос, в котором я едва узнала мой собственный. — Обещай мне, что скажешь, когда соберешься кончить, обещай!

Я была в поту, но потела не шея, не грудь, не поясница, а задница. Я и не знала, что она может потеть. «Первый раз со мной происходит подобная вещь», — подумала я, стараясь приподнять голову, чтобы высказать свое мнение Язаки. Я почти лишилась рассудка, так как была уже на грани, я боялась не сдержаться, если Язаки сделает хоть одно резкое движение.

Я знаю, что ты можешь испытать небольшой оргазм в тот момент, когда я дойду до конца, но ты должна сдерживаться, сдерживаться до тех пор, пока я не начну слегка поворачивать у тебя внутри, — говорил Язаки, входя все глубже.

Когда мозг пустил волну оргазма, я почувствовала, как мой зад и каждый мускул моего тела постепенно исчезают. Казалось, осталось только сознание, мне было страшно... Наверно, я попыталась сказать об этом Язаки, но не могла ничего запомнить. Я забывала обо всем через сотую долю секунды после того, как слова слетали с языка. Но все-таки Язаки догадался, что я испугалась.

Нет-нет, еще немного... Ты кончаешь? Да, да, да! — Я неистово тряслась головой, даже не понимая, что это моя голова.

Тревога ушла, и я заставила себя открыть глаза. Между ног я чувствовала спазмы. Я увидела лицо Язаки, перевела взгляд на ноги. Думаю, я никогда не забуду это зрелище. Конечно, это Язаки держал меня за лодыжки, но мне показалось, что я вижу свои отрубленные ноги, словно меня четвертовали и подвесили к потолку, будто окорок на каком-нибудь ближневосточном базаре. Пальцы на ногах то сжимались, то снова разжимались, следя ритму движений Язаки. Я опять закрыла глаза, но картина моих обрубленных ног отпечаталась у меня на сетчатке. Каждая клеточка вибрировала на грани оргазма, я заново могла их ощущать. Меня сотрясала страшная, невыносимая дрожь, и я уже не могла терпеть. Я закричала. Я кричала так, как не делала никогда, выбирая самые грубые слова, которые знала, содрогаясь всем телом, умоляя Язаки позволить мне кончить.

Давай, но, когда будешь кончать, сожми меня. Я отпущу твои ноги, и ты окажешься на мне... И сжимай меня так, словно ты хочешь сломать мне кости.

Волна накрыла все мое тело, каждую клеточку, каждое волокно. Она подступала все ближе и ближе, и я кончила.

— Ну да. Я видел все океаны нашей планеты. Это продолжалось три года, мне тогда было чуть больше двадцати. У меня были уже права на управление прогулочным катером и удостоверение ныряльщика. Моя работа заключалась в том, что я должен был приобретать различные вещи и антиквариат в восточноевропейских странах и в Восточной и Западной Африке, а потом продавать все это в Японии. В то время подобный хлам был в диковинку. Приятное время! Правда, я не склонен считать его лучшим периодом своей жизни. Прошлое, как

его ни верти, — дермо. И те, кто приукрашивает прошлое лишь потому, что оно прошлое, — тоже ничтожные говнюки. Куда уж лучше настояще, хотя тоже дрянь. Возьмем, к примеру, рекордсменов — пловцов или легкоатлетов. Ведь и плавают, и бегают все быстрее. Говорят: «Ничто не остановит прогресс!» Прогресс! Ну и какая же тут слава? По-моему, нет ничего более холодного и тщетного, чем прогресс... Ну, короче, я, как идиот, таскался по этим островам на всех широтах. Начал с Окинавы. Часто ездил на Сайпан. Гавайи: грузовики, вибромассажеры, джинсы, набедренные повязки. Остров Яп в Микронезии, острова Фиджи, Раиатеа и Бора-Бора, Новая Гвинея, Филиппины, Бали, Андаманские острова в Бенгальском заливе, Сейшельы, курорты на югославском побережье, Италия и юг Франции, Тунис, Танжер, что в Марокко, юг Испании, Португалия, Канарские острова Багамы, Ямайка, Барбадос, Большой Коралловый риф, Золотой Берег, Кернс в Австралии, Санта-Моника, Малибу, Майами — я был везде. Ах, забыл про Мальдивы! Ну и что? У меня была мечта, от которой я страдал не знаю сколько времени: я представлял себя с красивой женщиной на прекрасном пляже. Я думаю, что именно изза этой мечты я захотел покинуть Японию. Мужчина и женщина, бегущие по берегу, прыгающие в волнах, которые тихо выползают на песок. Представляешь себе эту картину? Загорая, плавая на катере, попивая коктейли... у меня слюнки текли! И это символ всего наиболее удаленного от того, что есть у меня, того, что не сбудется никогда. Символ всегда иллюзорен. Символ не означает ничего. В нем не было ничего реального, и тем не менее я не мог освободиться от него. Пытаешься доставить себе удовольствие, и неизбежно возникает перед тобой голубой, почти прозрачный океан и пляж с белым песком. Пляж пуст, по нему иду я, ведя за руку красивую девушку, предназначенную только для меня! Моя мечта вся сводится к этому, ну конечно, с приложениями в виде вина, шампанского, паштета, кокаина и тому подобного. Но главнейшим, несмотря ни на что, оставался пляж. Я забыл название и автора романа, где описана такая сцена: кинопродюсер, человек очень могущественный и влиятельный, властный, придя на пляж, вдруг понимает, что он уже стар. Светит солнце. Он замечает на берегу мужчину и женщину. Они молоды, они купаются в волнах, брызгаясь друг на друга. И продюсер понимает со всей неизбежностью, что он состарился. Он переспал с сотнями актрис и звезд, и, глядя на эту парочку на берегу океана, он отдает себе отчет в том, что уже слишком далеко от всего того, что символизируют эти мужчина и женщина. Вот так-то: невозможно вернуться назад. Этот продюсер понял, что одряхлев, увидев парочку на пляже. Я всегда думал, что это одинаково для всех. Ну, под «всеми» я понимаю определенную категорию людей. Не стоит уточнять, что этот пляж всего лишь мечта, мечта, которую расписывают в кабаках жаждущим солнца европейцам. Вот чернокожие, действительно живущие в тропических широтах, свободны от фантазий подобного рода. Я знаю, о чем говорю, ведь я бывал летом в тропиках: солнце в это время года способно убить. Это невыносимое пекло, и где же здесь удовольствие? Вы должны постоянно заботиться о какой-нибудь защите, если не хотите отдать концы. И никаких повязочек. Местные жители там ненавидят солнце. Впрочем, зимой в таких местах на самом деле начинается нормальная жизнь. Вода становится более прозрачной, солнце не так жарит. Можно запросто порезвиться на пляже, на вашем теле выступит только пот. Но для этого и предназначены пляжные игры. Например, батл-теннис, изобретенный в Венис-Бич. Это такая игра с мячом, нечто среднее между футболом и волейболом. Есть также и более известная — фрисби. Партия во фрисби зимой на пляже — вот в чем и состоит наивысшее наслаждение! Необходимое условие: не трахаться и не принимать наркотики накануне вечером. Утром, когда вы просыпаетесь, весь напичканный наркотой, вас начинает так выворачивать, что даже зимнее солнце ничем не поможет. А я знал многих деятелей, которые после бурно проведенной ночи умирали от элементарной солнечной ванны. Остановка сердца! Иными словами, поддерживайте спортивную форму. Поэтому, чтобы оценить всю прелест игры, вам необходимо ограничить

себя в сексе и убрать из употребления любые наркотики. И так до тех пор, пока с вас не польет пот, вы будете перебрасываться тарелочкой с вашей партнершей, изящной девушкой, с которой так приятно поболтать и которой вы доверяете. И вот вы наконец вспотели. Вы бросаетесь в воду освежиться, вы плещетесь в волнах. Вас пробирает до самых внутренностей, и вы дурачитесь и ревзитесь в белых барабанах, пока не посинеют губы и не съежится член. Вы выползаете на берег и располагаетесь в шезлонге. Вы надеваете черные очки, ибо солнце слепит глаза, сдвигая их на нос. Становится темно. Вы протираете линзы, потом закуриваете сигарету. И эта сигарета кажется вам вкуснее всех сигарет, которые вы когда-либо выкурили. Самая приятная, вкуснейшая сигарета! И как только вы ее затушите, ваш мозг даст вам сигнал, что вы уже достаточно прогрелись. Летнее солнце буквально бьет по вам, тогда как зимнее просто глубоко прогревает вас, лаская своими лучами кожу. Вы чувствуете, как прогревается каждый орган вашего тела, как играет ваша кровь. Вот в этом главным образом и заключаются пляжные удовольствия. Сущность пляжа лишь в этом. Остальное не столь существенно, просто приятное праздное времяпрепровождение. Даже если для определенной категории людей, про которую я только что говорил, пляж является только символом. Для некоторых пляж — повод почувствовать свое одиночество. Что вы не были и не будете никому нужны. Скорее всего я принадлежу именно к таким людям. Не знаю, как к ним приходит осознание этого факта. Не будет преувеличением сказать, что это своего рода травма. Тут не стоит копаться в их личной жизни вплоть до детских лет, так как это явление зависит лишь от человеческой воли и желания. В двадцать лет каждый из нас уже знает, что такое чувство бессилия. И на протяжении всего этого периода вы будете подыхать от страсти. Это желание выворачивает ваши внутренности, и именно поэтому ваши пляжные фантазии неразрывно связаны с образом женщины, той самой, с которой вы бежите по песку. Я не знаю, испытывают ли женщины что-нибудь подобное. Я говорю это не потому, что сам не являюсь женщиной, а поскольку сомневаюсь, что женщина, испытывая тягу к самцу, способна ощущать бессилие. С того времени, как я перебрался из деревни в провинции Сикоку в Токио, мне постоянно казалось, что все вокруг меня только и говорят: «Ты бессилен». Повсюду. В любой ситуации, даже когда я слушал у себя дома музыку, или когда я шел один по улице, или ожидал зеленого сигнала светофора, или же когда занимал очередь в супермаркет. Я ощущал это как сигнал, словно тысячи иголок вонзались мне в кожу:

Ты бессилен.
Ты бессилен.
Ты бессилен.
Ты бессилен.
Ты бессилен.

Я выходец из среднего класса, его еще называют трудолюбивым классом. Мой отец был несчастным придурком, но если бы я был сыном министра финансов, вряд ли это что-нибудь изменило. Я уж не говорю об этих кретинах, которым достаточно, чтобы папа с мамой купили им новый «феррари», и любая их страсть мгновенно утихнет. Я не утверждаю, что это чувство бессилия необходимо. Я ненавижу его. Не думаю, что мужчина способен счастливо жить, просто приспособившись к такому обстоятельству, за исключением разве что импотента. Впрочем, импотент как раз и не замечает своего бессилия. И в той же мере, в какой он не отдает себе в этом отчета он и живет, примирившись. Это чувство характерно не только для капиталистических стран, оно также присуще и животному миру. Приходит время, и молодые

самцы должны покинуть стаю! И как только настает этот час, самцы сразу же становятся бессильными. Разумеется, молодой самец не может выжить в таком состоянии. Помогает от него избавиться только половое влечение. Молодой человек и девушка, валяющие дурака на белом песочке, — всего лишь карикатурное изображение либидо. Вы должны осознавать свое желание, чтобы у вас был шанс победить собственное бессилие. Откровенно говоря, этого недостаточно, чтобы полностью освободиться от зависимости, поскольку одного желания здесь мало. Не следует просто бороться с нею, ибо вы рискуете оказаться в затруднительном положении, которое сделает вас еще более зависимым. Ведь желание не может само себя обуздить, не правда ли? Поскольку ничто не может и не должно мешать желанию объективизироваться в реальности. Скорость, с какой оформляется ваше желание, обратно пропорциональна скорости, необходимой для избавления от чувства бессилия. Я подведу итог еще большей банальностью: страсть — это секс и наркотики. И деньги. Они нужны, чтобы покупать наркоту и более качественно трахаться. Нужно только выйти на рынок, не важен способ, каким вы будете вынуждены продавать себя, превратившись в средство обмена, если возможно, в конвертируемую валюту. Таким образом, лишь кучка людей может отдавать себе отчет о природе своих желаний, для того чтобы быстро выйти из бессильного состояния, в то время как остальные пытаются отделаться полумерами. Эти последние меня не интересуют. Это настоящее быдло, они пресмыкались с начала рода человеческого. Ничтожные и отверженные людишки. А те, кто осознал свои желания и избавился от чувства бессилия, в какой-то момент начинают понимать, кем они являются на самом деле — садистами. Находящие удовольствие в своем бессилии в один прекрасный день слышат голос, который им говорит, что они никому не нужны: «Вы никому не интересны, вы достойны равнодушия». Тот кинопродюсер, о котором я говорил, испытав отчаяние от своего старения, понял, что ему стоило прийти к этой мысли раньше. В шестьдесят лет уже поздно жаловаться. У вас больше не остается сил, а потом следуют упадок и смерть...

Язаки продолжал разглагольствовать, даже когда мы уселись во взятый напрокат грузовичок. В баре на берегу лагуны мы отведали мексиканской кухни: свинина, фасоль и кукуруза; запили это дело десятком-другим стаканчиков текилы, потом вернулись в номер. Занимались любовью, спали, опять занимались любовью и опять заснули до самого рассвета. Снова забравшись в грузовик, мы направились в сторону некоей деревни, где можно было увидеть следы цивилизации ацтеков. Как только мы отъехали от отеля, дорога сразу сделалась узкой. Асфальт исчез, когда мы отвернули от моря и двинулись вглубь страны. Машина поднимала тучи пыли, нас нещадно болтало и мотало. По обе стороны расстилалась высохшая и растрескавшаяся земля. Кое-где возвышались кактусы, словно покрытые ржавчиной, рос хилый кустарник. Вершины гор вдали частично были покрыты снегом. Язаки прокричал мне, как называются некоторые из них, но я тотчас же все забыла: это был не испанский язык, а какое-то местное наречие, которого я не знала. Язаки стал необычайно разговорчивым, скорее всего из-за того, что нанюхался кокаина, едва только сел в машину. Кокаин передал ему шофер, широко улыбавшийся всю дорогу. Я заметила, что у него не хватало двух зубов. Этого маленьского скромного человечка Язаки называл Виктором. Не знаю почему, но я сразу же стала испытывать к нему неприязнь. Слишком уж угодливо он заглядывал Язаки в глаза. Было похоже, что они знакомы не один год. Кокаин находился в металлическом футляре, который я уже видела: что-то вроде серебристой трубочки, размером напоминавшей тубус для губной помады. В нем было отверстие, чуть шире диаметра сигареты. Язаки осторожно встрихнул трубочку и поднес ее к носу. Это усовершенствование позволяло нюхать кокаин в дороге, не боясь его просыпать из-за тряски. Язаки положил футлярчик мне в руку. Он выглядел расслабленным, словно хотел сфотографироваться на память.

Нажми на кнопочку сбоку два-три раза, встряхнув тюбик, а потом отпусти ее, когда вдохнешь.

Я колебалась. Я не знала, что делать.

Ах да! Ты же не употребляешь, — произнес Язаки, заметив, как я перевожу взгляд с его лица на тюбик.

Он должен был это знать еще с первой нашей встречи. Но он сказал это так, что в его голосе я почувствовала холодность. Мне показалось, что он стал отдаляться, оставив меня наедине с собой. Меня охватило ощущение ужаса, которое я не могла объяснить. Для Язаки эти слова оставались просто словами. Но для меня все было подругому. Я никак не могла понять причину, по которой вдруг почувствовала себя уже прожившей. Может, это произошло из-за тех оргазмов, что я испытала, занимаясь с ним любовью, когда наше дыхание смешивалось сарами алкоголя? Эти мысли вихрем пронеслись у меня в голове. Я знала, что мои оргазмы не зависели от формы и размера члена моего партнера или от его техники. Чтобы расслабиться, мне нужно было лишь почувствовать себя любимой, снять все внутренние запреты, отдаваться ритму его движений и дать себе ощутить, как меня накрывает волна наслаждения прямо перед наступлением оргазма. Язаки оказался в тысячу раз нежнее, чем я могла себе представить. «Тебе не надо так судорожно шевелить ягодицами, — повторял он постоянно. — Ты причиняешь себе боль, а если тебе будет больно, мы не сможем повторить то же завтра утром. Но ты, наверно, хочешь повторить это утром, а? И тебе бы не понравилось ощущать боль, ведь нет же?» Я краснела, слушая, как он шептал мне прямо в ухо, и ответила «да», я долго и многократно повторяла это. Со мной это было впервые. Я еще никогда не встречала человека, которому была бы так преданна. Я не помню, как взяла этот тюбик, как поднесла его к носу — но я вдохнула. Я нюхала кокаин в первый раз за семь лет.

Дорога сужалась все больше и больше. Кустарник почти исчез. Мы уже приблизились к горам, когда наш водитель вдруг заговорил. Язаки слушал его и бледнел. Мне показалось, что ему стало плохо, а потом он вспыхнул в гневе. Какое-то время шофер возражал ему, но вскоре осекся и стал извиняться. Белки его глаз пожелтели. Я заметила множество отталкивающих шрамов, покрывавших его надбровные дуги, наверно, поэтому его глаза казались разной величины. Остренькое лицо прорезала сеть морщин, а кожа блестела так, словно была смазана чем-то маслянистым. Он постоянно кривил рот. Верх дешевого костюма, что был на нем, казался покрытым плесенью.

— Что он сказал? — спросила я Язаки, дотронувшись до его бедра.

Тут начал действовать кокаин. Это было ощущение чего-то мягкого, погружавшего меня в далекое прошлое. Каждая клеточка моего тела, казалось, исходила пеной независимо от моей воли, словно внутри меня шевелился какой-то зверек.

— Тебе лучше не спрашивать. Не слишком аппетитная история.

Как только Язаки произнес это, меня охватило дурное предчувствие.

Нет, скажи, ну скажи же, — настаивала я, тыча его в ногу.

Этот шофер не мексиканец. Он из Никарагуа. Я думаю, что ты уже поняла, что он не профессиональный водитель. Я познакомился с ним в Канкуне шесть лет назад. Он продавал мне наркотики, а ведет себя так, потому что я ему хорошо плачу. Его друзья занимаются грязным бизнесом: они похищают детей, которых затем убивают, чтобы продавать их органы. Он говорит, что человеческая печень стоит очень-очень дорого. В Южной Америке чаще всего практикуют пересадку внутренних органов. Он говорит также, что с некоторых пор стали пропадать и молодые девушки. Его друзья долдонят ему, чтобы он присоединялся к ним, так как торговля органами более выгодна, чем наркотиками. Но он отказывается. Он рассказал мне гнуснейшие вещи, про какой-то орган, который кладут в консервационную сыворотку... вот

почему я так разозлился.

Какое-то мгновение я отчетливо видела, как меня уводят в пустыню, к сараю с гофрированной крышей, где многочисленные люди, похожие на Виктора, насиловали меня, а потом убили. Глубоко в зад мне вставляли тлеющую головню, их члены один за другим входили в меня. Неподвижно сидящий на стуле Язаки снимал эту сцену на видеокамеру. Кассета была потом продана за большие деньги каким-то извращенцам на Западном побережье США, а моя печень, много раз перепроданная на черном рынке, в конце концов была помещена в банк человеческих органов. А действительно ли этот грузовик направлялся к ацтекским руинам? Язаки предложил мне немного сущеного пейотля, который он уже разжевал. Небо казалось бесконечно голубым. Машина мчалась по дороге, поднимая тучи пыли. Пейзаж становился все более пустынным. Я все жевала и жевала кусок пейотля. От кокаина мое нёбо стало совсем бесчувственным, и я совершенно не понимала, горько или сладко у меня во рту.